

Это кто у нас такой хороший?

После выхода Гарри Поттера многие дети очень хотели завести дома сову или крысу. И я их очень понимаю. Я в детстве очень хотела завести дома капуцина с длинными паучьими руками и ногами и в «шапочке». Но мама говорила, что обезьянам в нашем климате плохо. Помню унылую очередь за бананами в темнеющей, заснеженной Москве возле Черемушкинского рынка. Мы стоим с мамой, нам холодно и тоскливо. И вдруг к началу очереди подходит женщина и просит купить один банан для обезьянки.

— Мы тут детям покупаем, а вы с какими-то обезьянами! — накинулась на нее очередь.

— Дети могут прожить без бананов, а обезьянки — нет, — вмешалась моя мама.

И на нас тоже наорали.

В параллельном классе учился сын работника зоопарка. И в их доме время от времени перекантовывались разные животные. Например, лемур, который, внимательно глядя в глаза, брал гостя за палец, будто хотел сообщить что-то важное. Лемура я тоже очень хотела.

«Вам обязательно надо кого-нибудь завести! — сказала мне Екатерина Мурашова.— У вас есть дети? Уже подрошенные? Отлично! Тогда у вас есть время заняться животными.

Возьмите бурундука! Они почти не пахнут. И характер у них как у питерских интеллигентов. К тому же они живут не так долго — лет пять. Как раз, чтобы закрыть ваш гештальт! Я бы вам отдала свою ласку. Но она уже подросла, ей сложно будет к вам привыкнуть. И характер у нее не очень, кусается».

.....

Авторы сборника — известные писатели Екатерина Мурашова, Станислав Востоков, Юлия Говорова, Наталия Волкова и Ирина Лукьянова рассказывают о необычных питомцах — сурикатах, крысах, шиншилле, попугаях и даже носухе.

Сурикат Рита из Кронштадта

Юлия Говорова

Сурикаты, которые столбиком стоят, выставив для прогрева животы... У меня появился первым Сурик. Я его назвала как-то просто очень — Сурик. Хотя нужно мне было исхитриться и придумать чего-нибудь, отчебучить залихватское. Назвать, допустим, суриката — Тимон. Чтоб как в мультфильме.

Но я залепетала почему-то мгновенно только: «Сурик...» И мы с ним стали мгновенно неразлучны. И он с первого дня уже никогда не выпускал меня из виду.

Если я уходила, волновался. Да и попробуй уйди от него, чтобы он за тобой не проскользнул! Он каждый раз поддевал (и с завидной напористостью!) дверь, и каждый выход из комнаты для нас стал обоюдным таким испытанием и на ловкость, и на прочность.

Он прижимался к стеклу, увидев, что я от него (и ведь совсем ненадолго!) уйду. И я видела его вжатым в стекло нос. И как он лапами по стеклу, увидев меня, наверно, на улице, колотит. Хотя на балконе ему на самом-то деле хорошо! Восьмой этаж, и сурикат у окошка застывал, обзревая дворовые унылые окрестности.

Ну а потом появилась у нас Рита. И начала верещать и верещать. Она верещала, пока не заполнила своим верещанием пространство. А освоившись и наполнив комнату своим верещанием, замолчала. И с тех пор она всегда только по делу верещит.

Ну, вы поняли, что у меня дома живут два суриката. И я решила завести дневники наблюдений за их жизнью. И на первой странице записала, что сурикаты заняли у меня в

комнате большое окно. Как ни проснусь, а сурикаты все время у окна. С утра они уже на подоконник по приставленному креслу залезут — оглянуться.

И вдруг потянутся выше-выше-выше! Передними лапами застучат и заколотят (если что-нибудь интересное увидят).

Они смотрят на капли дождя в серый день. И на дым теплосетей. На полосы в небе от пролетевших над нами самолетов. На огоньки этих самых самолетов.

В листопад они попытались однажды дотронуться до налипших к стеклу листьев. Во дворе они пересчитали ворон. Они смотрят на припаркованные во дворе у нас машины.

Женщина развешивала на балконе белье, Рита очень внимательно смотрела. Сурикаты смотрят, как на соседних домах у нас вечером иногда отражаются закаты.

И на меня, когда я на улицу выйду, все поглядывают. И я спиной это чувствую: поглядывают! И я признаюсь, что это наше волнение взаимно.

Потому что когда они появились у меня, когда мне сурикатов привезли, меня это сильно взволновало. Мне померещился на резиновом коврике песок. И не с ботинок насыпанный, а что его намело вдруг внезапно захлопнувшейся дверью.

И комнатная температура повысилась. И воду я стала экономить. И приготовилась жить с того дня в очень-очень сплоченном коллективе (сурикаты сплоченные животные!). Со своими песчаными бурями, страстями. Со своим нам неведомым климатом пустынным.

И вдруг они оказались у меня на застекленном балконе в Бирюлево. Девочка в Вологде родилась, мальчик тоже квартирного домашнего разведения, из Брянска.

Но я в них чувствую этот другой континент, географическую обособленность и избранность. А они во мне чувствуют только московский район Бирюлево Восточное или все-таки еще что-нибудь другое?

Рита сейчас прильнула к стеклу. И она стучит, стучит всегда передними лапами по стеклу, когда что-нибудь интересное увидит. Суручка стоит, замерев, а иногда закачается как маятник.

Он иногда закачается, как маятник. Он покачнется вперед, потом назад. Чтобы пятки у него от долгого стояния на посту не затекали.

Суручка вздремнет, встрепенется. Глаза у сонного наблюдателя от долгого стояния на посту все закрываются. А увидит чего-нибудь за окном, заверещит. Он взволнованно, а иногда и тревожно закурлычет.

Рита услышит верещание своего любимого спутника, примчится. И у нее мгновенно станет очень сосредоточенным взгляд. И зашевелится на носу от дыхания, волнения полукружия.

У сурикатов на их черных носах есть такие, они как будто бы от помады, полукружия. И этот розовый ободочек на носу он почему-то вот больше заметен на черном носу Суры.

Розовый «смайлик» под носом взволнованно и с усердием шевелится, когда Сура к чему-нибудь принюхивается. И сегодня ведь есть к чему принюхаться! У нас выпал сегодня зимою первый снег!

Сурикаты наблюдают за дворниками, которые утром счищают снег сейчас с крыши. Дворники машут огромными и широкими лопатами.

Я сурикатам еще вчера принесла с базара елку. Сурикатам удивительно было наверно почувствовать колючесть.

Загорались напротив нашего четырнадцатизэтажного дома на украшенных уже и живых и искусственных елках огоньки и отражались — зеленые, желтые, красные — в глазах удивленных сурикатов.

Соседи во дворе несли елки, и макушки зеленые качались. Елки кивали головами друг другу, ну а люди не кивали. Перед Новым годом так пахнет везде вкусно!

Глаза у сурикатов, и у Риты особенно, внимательные. Хотя Рита поменьше Суры ростом. Но ведь это не значит, что слабее! Рита смотрит на мерцающее этими новогодними огоньками окно самозабвенно.

А я недавно залюбовалась на Суру. Вот мне нравится, что в его взгляде есть оценка. Он анализирует всегда пристальным взглядом обстановку.

И у него не заискивающий взгляд. Заискивающий — это когда он ко мне ластится. А когда смотрит во время своего дозора в окно, то взгляд серьезный.

Сурикаты встали у меня сегодня утром на подоконнике и замерли. И я стою вместе с ними и тоже сейчас какое-то время не понимаю: что случилось?

А это инеем покрылись деревья! Все сверкает. Золотые крупиночки снега на деревьях напоминают сурикатам наверно сверкающий песок. Они стоят и все взволнованно шуряются на солнце.

Зажгла свечи вечером сурикатам сегодня, Рита смотрит. И сейчас достала гирлянду с антресолей. На ней лампы уже какие-то не горят, поизносились от времени, перебинтованы синей изоляцией.

Но я их для проверки зажгла и у меня, конечно, нашлась только одна восторженная и благодарная зрительница — Рита.

Она следила, как меняются на новогодней гирлянде огоньки. Ах, как меняются на новогодней гирлянде огоньки! Когда видны все эти разноцветные отсветы, отблески на окнах.

Мы утепляли окна недавно, но мои пустынные мудрецы не поняли все же смысл происходящего. И пока я тщательно затыкала ленточки поролона во все щели, они их не менее тщательно вытаскивали. И это был очаровательный труд! Мы дополняли друг друга гармонично.

При этом Рита умудрилась выскрести из-под оконных щелей столько каких-то засохших старых мух! И при этом она выковыряла из-под оконных щелей столько остатков, клочочков старой ваты!

Ватой многие окна тоже когда-то утепляли. Или ватой или узкими поролоновыми ленточками. Вату нащипывали из такого большого рулона по куску.

А сколько ваты, помимо будничного утепления окон, мною было в детстве отщипано на «снег»! Клобочки ваты изображали на ветках елки снег. И с мишурой эта вата иногда еще перемешивалась, с блестками. «Что под елкой спрятано?» — моя любимая песенка из детства.

Сурикаты сейчас уткнулись во время разыгравшейся метели в окно и смотрят, дышат.

Вышло солнце и сквозь мои старые окна, по-медицински утепленные всеми этими нащипанными клочочками ваты, осветило старый пол. А на полу все паркетинки рассохлись.

И сурикаты извлекают сейчас из щелей на паркете коготками и мои старые кнопки канцелярские со сломанным, гнутым наконечником. И какие-то мои старые скрепки. И монетки.

И мои винтики, шайбы от конструктора. У меня в детстве винтик закатился, а сурикаты его через столько лет нашли!

У меня хвой сейчас обнаружилось под паркетом не меньше, чем в лесу! Это старые, еще мои детские елки осыпались. Как ни пылесось всюду пол, ни подметай, а иголки рыжеватые и колючие найдутся.

И еще у меня внезапно нашлись сейчас две шашки! Сурикаты нашли сейчас две шашки. Но не сабли, а это у меня были такие немного необычные шашки — на магните. Ну, то есть они примагничивались к полю.

Ход делаешь и шашечку отрываешь от доски. И прямо чувствуешь, как ее уже тянет обратно, как магнитит. Не знаю, что мне вообще тогда больше нравилось: играть или чувствовать это тягучее притяжение магнитов.

И еще благодаря сурикатам у меня тут недавно нашелся мыс Дежнева. На карточке из географического лото «Вокруг света» (у вас был?).

Сурикаты нашли мои букочки «т», «д», «е» от «эрудита». Они вообще, как только у меня появились в квартире, стали рыть. И обои скрести. И продырявливать и буравить в стене дырки.

Стена крошится с катастрофическим для меня, но с вдохновляющим сурикатов успехом и упорством. Стена — овраг с продырявленными гнездами для ласточек. С «иллюминаторами», процарапанными моим Монте-Кристо — моей Ритой.

Над углублениями Рита работает старательно. Нос побелел у нее, потому что в известке и пыли. Только глаза, а у Риты они цвета черных ягод черемухи, сияют.

И с каждым днем стены у меня истончаются все больше. И не вода камень точит (и заодно уже стены!) — сурикаты! Они отколупывают штукатурку от стенки с наслаждением. Они нароют в стене углублений, отверстий и прилягут. Они вытянут передние лапы вперед удовлетворенно.

Коготочки у них во время рытья — и это единственный все-таки плюс от копания! — как правило, стачиваются сами. Хотя сурикатам обычно подрезают. И подрезая, обязательно смотрят на просвет, чтобы видны были кровеносные сосуды, чтобы как раз не задеть эти сосуды.

И Риточка переносит спокойно маникюр (если он все-таки есть). Ну а Сура, он постоянно щебечет, как девчонка. Хотя какая из этого увальня девчонка! У сурикатов девчонки верховодят.

Вон Рита содрала вчера немного подушечку на пальце. И играет! И копает! Она находит податливое место. Ну, вот такое податливое место, где стоит всего лишь поддеть, отколупнуть, и твой дом вдруг становится замком из песка, выковыриваемого сейчас очень тщательно из стенки.

Межкомнатную копать разрешаю, но скрести и разламывать несущую!!! Но, в конце концов, «это всего лишь кирпич в стене, это всего лишь кирпич в стене», как пел «Пинк Флойд».

На этой иссеченной сурикачьими когтями стене мы еще с Ритой и Сурой недавно смотрели диафильмы. Ну, вы ведь помните, что это такое — диафильмы? Когда стена превращается в экран, освещенный направленным лучом. Когда лучом освещается вся пыль. И это редкий момент, когда ты любишься на пыль. Как перед носом она у тебя оседает, поднимается.

Мне эта пыль напоминала планктон. Пока ты пленку менял или просто перед лучом проходил, твоя тень была всегда увеличена проектором. Диапроектор горячий, луч его горячий. Диапроектор как маленькая пушка.

Смотрели диафильмы зимой, когда мороз непроглядный за окном. Когда подсвечивался и мерцал на окнах иней.

Посмотрев диафильм «Белый клык», я на сочинении в школе написала: «Песни этих людей (и речь шла о героях Джека Лондона) — вой волка. Мир этих людей бел. Молча идут они по заметенной дороге своей жизни».

В диафильме про «пляшущих человечков» я помню тонкие и иногда ну прямо даже какие-то паучьи пальцы Холмса.

Рита вынула сейчас из коробки целлулоидные ленты, раскатала. Она нюхает освещенную белым лучом стену.

Но вначале, конечно, испугалась. И я прекрасно понимаю ее! Увидеть такое слепящее пятно, будто Сатурн или какая другая планета с картинок географического лото вдруг внезапно спустилась к тебе в дом!

А Сура, когда мы с ним диафильмы впервые смотрели, досидел. Но волосы у него, как у героя Караченцова в «Человеке с бульвара Капуцинов», встали дыбом.

Мы смотрим по интернету документальные кино про пустыни, океаны. Комедию про африканцев-бушменов смотрели, очень старенькую, где бутылка из-под кока-колы в пустыне.

И про пресловутую голову в песке. Ну, вы помните голову в песке и знаменитый трагический финал: «Верещагин, не заводи баркас! Верещагин, уйди, сойди с баркаса!».

Рита увидит, что я компьютер или телевизор включаю, угнездится. Зашевелятся от предвкушения ее ноздри. Ее чувствительные и ее восприимчивые ноздри. Они улавливают в себя, поглощают, вдыхают каждый кадр.

И все волнует ее! И косяки океанических рыб и съемки океана в 3D. И познавательные научно-популярные документальные фильмы про саванны.

Рита увидит лопатки крадущихся по саванне в кустах львиц и обернется ко мне: «Нет, ну ты видишь! Ну, ты видишь!!!».

А Сура — он на диване блаженно и лениво развалится, зевает. Он прокемарит половину кино, ведь для него все это «для девчонок» кино. Ну а Рита, отзывчивый и внимательный зритель, все досмотрит.

Но иногда глаза у нее закрываются, слипаются. Голова наклоняется набок. Сура принимает склоненную голову Риты на плечо.

Недавно я вынесла стол, свой старый письменный стол, за который я села впервые в первом классе. Пока разбирала, нашла свои карандаши кохинор и транспортир. Газету «Впереди — океан!». То есть стенгазету. И я ее выпускала сама.

А почему там впереди океан? Да потому что я в одиннадцать лет вдруг написала письмо с просьбой зачислить меня в Высшее военно-морское и почему-то вот именно Тихоокеанское училище. Хотя в географическом плане от меня был абсолютно далек этот неведомый Тихий океан. Но я стремилась.

В журнале «Костер» была рубрика «Морская газета», я ее читала. Учила азбуку сигнальных флажков. И ходила в кружок при ДОСААФ. В кружок радистов (морских!) меня отвела после долгих моих просьб и стенаний моя мама.

Вовка Груздев, мой школьный и дворовый приятель, из-за меня записался в макраме. Он-то думал, я тоже запишусь! Ну а я в тот момент, ну а я — среди радистов!

Маму я слушалась в детстве по свистку. По обычному лыжному свистку (ну потому что морской я в то время не нашла). Мама мне свистала «наверх!». Ну, или как минимум на подъем и на обед. И это была для меня обязательная к неукоснительному выполнению команда.

А подъем — он был еще не просто объем, а обязательно — пока спичка не погаснет. Мне обязательно надо было встать и одеться, пока эта спичка не погаснет. И спичками мы протыкали пирог (а вы не протыкали пирог?). Сухая спичка — это значит пирог уже испекся.

Ну и песни, конечно, я знала все морские. Как мне казалось тогда, их нужно было петь хриловатым низким голосом. И я тренировала эту нужную долю хрипотцы, раскуривая (все это на балконе обычно) листочки из тетрадок.

Вовке Груздеву дала прикурить, а он меня моей маме сразу выдал! Неудивительно, что на выпускной фотографии нашего пятого школьного класса, а фотки всем в конце года раздавали, у Вовки Груздева перечеркнута моей гневной рукою голова.

И почему-то я одновременно решила, что я — Лермонтов. И была уверена, что умру, ну уж таков мой провидческий удел. Но пока во мне еще каким-то образом все-таки теплилась и теплилась жизнь, мне нужно было срочно понять тайный смысл своего появления на свет и свое предназначение.

Потому что неудача Печорина — «пробегаю в памяти все прошедшее и спрашиваю невольно себя: для какой цели я родился?» — не давала мне покоя.

И страница из сочинений поэта — моя верхняя книжная полка, та, что справа, все нужное у меня там подчеркнуто карандашиком, и уголок на страничке тоже загнут — нависала булатным узорным кинжалом надо мной.

«И, может быть, я завтра умру! — я приговаривала и убеждала себя, — и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно...»

А одноклассники и товарищи? Друзья? Да что вы, что вы! «Все мы живем и находимся в бездействии!» — уже не Печорин, а я так написала на сочинении в школе в пятом классе.

И что «душа в моей жизни отсутствует!», я с демоническим вдохновением признавалась. «И почему моя девочка — Лермонтов?» — удивлялась доверчивая мама.

Мама вела одновременно со мною дневники, в которых отмечала все-все: от «верхний зуб справа у Юли в девять месяцев» до (и это примерно то время, когда меня уже поглотила морская стихия) — «принесла из яслей сейчас выражения».

Я маме из пионерского лагеря «Прометей» нежно писала: «Мама, выключай, когда уходишь, все электрические приборы! Когда ешь рыбу, смотри осторожно всегда — косточки! И не пей, разгоряченная, воду!».

Наш пионерский отряд, и я очень хорошо это помню, назывался как-то космически звездно — «Альтаир».

В родительский день мне мама привозила клубнику, пересыпанную, чтобы не испортилась, сахаром. В литровой банке эта клубника давала густой сок.

И вспоминаю еще, как я на сцене стою с перебинтованной и окровавленной красочно рукой (это мы изображали партизанский отряд). И у меня гуашь проступает сквозь бинты.

О, мы ведь красок на раны не жалели!

Помню проводы в пионерский этот лагерь, когда сидишь у самого лучшего места — у окна. И взрослые машут руками тебе и показывают знаками в воздухе «пиши!» и чемоданы с наклеенными на них номерами отрядов в багажник погрузили.

И именно в последний момент, когда мотор заведен, разгорячен, и все двери закрылись уже, и автобус вот-вот тронется, мне так хотелось вдруг вырваться из разделяющих нас стекол салона и вернуться назад к маме.

Мама первая ко мне в первый же родительский день сама тоже с места обычно срывалась, приезжала.

Кроме меня, у нее есть только ее старшая сестра тетя Люся с дядей Юрой. Но они дипломаты, китаисты. Долго жили безвылазно в Китае. И я помню только какие-то фрагменты наших встреч.

Как нам дядя Юра готовит свое коронное блюдо — знаменитую утку по-пекински. Утка пахла неведомыми специями! Тогда абсолютно неведомыми и экзотичными специями. Это сегодня в Москве изобилие китайских приправ, ресторанов, а тогда...

Утка сочная была и вдобавок с какой-то хрустящей красной коркой. И под вилкой она аппетитно разваливалась, пахла. И мы ели ее под огромной желтой картой. И это была карта Китая. А желтая из-за песков пустыни Гоби.

Карта с синими развилками рек, знаменитых Янцзы и Хуанхэ. И я водила рукой по Хуанхэ. И как я понимаю теперь, эта тяга к пустынному песку появилась и проснулась во мне до сурикатов.

Занавески, а они были все из бамбука, шелестели. Иероглифы нарисованы были на черном, красном фоне.

Свисали свитки. И эти свитки из рисовой бумаги. И на свитках там то крадущийся тигр, ну а то притаившийся дракон... И эта мудрость — с ароматами готовящейся утки на кухне! — опьяняла.

И я запомнила шашки на ковре. Не магнитные, как у меня были дома, — из пластмассы. А ковер — это шашечное поле! Ну и мы с дядей Юрой на ковре, утопая просто в этом ковре

(ну я не знаю, как там дядя Юра, а я в этом ворсистом ковре прям утопала) играли в черные и красные шашки. Размерами с глиняную миску!

Конверты со штемпелем авиапочты, фотографии: дядя Юра стоит среди китайцев, на обороте фотографии подпись «Пекин, Бэйхай, Северное море», тетя Люся стоит в разрисованном бордовыми тюльпанами платье, вся сияет.

В Пекине она регулярно организовывала хор из поющих сотрудников посольства. Аккомпанировала хору сама на аккордеоне. «Хор наш выступает везде! — тетя Люся писала моей маме. — Перед эмигрантами в Харбине...»

«Играем за нашу дипломатическую миссию в волейбол! Пока выигрываем!» — подхватывал тетю Люсю дядя Юра.

А вот папу своего я не помню. Абсолютно. Он умер, когда мне было три года. Я не помню, ни какие свитера он носил. Черные? С протертыми джинсами? Не помню. У меня даже нет ни одной фотографии с ним вместе.

И у мамы, к сожалению, на память нашлась всего одна. Да и фотографией-то толком ее не назовешь: просто трое мужчин летним днем беззаботно куда-то шагают там по шпалам и один из них — в середине — мой отец. Но сфотографированы они со спины, да и сняты еще издалека. На такую фотографию вряд ли ты сможешь хоть как-нибудь возложить свои надежды.

И тогда я себе папу, своего папу родного сочинила. По рецепту той дяди Юриной утки волшебной. Надеясь его, как приправами, цитатами. Все цитаты я заносила в блокнот, выписывая их из любимых фильмов и с пластинок. И обязательно потом еще перед зеркалом учила.

И папа, конечно же, стал Бельмондо во всех фильмах моментально. В «Профессионале», «Великолепном», «Неисправимом», «Чудовище» особенно!

А через пару часов, по расписанию телевизионной программки, он у меня уже быстро был Андрей Миронов («Соломенная шляпка», «Обыкновенное чудо», «Двенадцать стульев», «Достояние республики» и «Бриллиантовая рука» плюс запись концерта и встречи с артистом из Останкино).

Ну а на следующий день у меня папа уже — Денис Давыдов. В историческом приключенческом фильме «Эскадрон гусар летучих».

В «Эскадроне» был знаменитый финал, когда Давыдов на лошади мчится, мчится, мчится. Он отпускает на мгновение поводья, хлопает над головой своей в ладоши.

Зимой там тоже все скачут, скачут, мчатся (ну а чего б не скакать, в кино две серии!). И на привале еще Давыдов поет: «Не пробуждай...». Ну а я вот сижу и пробуждаю.

«Гусарскую балладу» я полюбила за то, что там, пусть на мгновение почти, но тоже появлялся мой бог и кумир Денис Давыдов и говорил там, обращаясь к какой-то певичке и кокетке: «Что вижу я, о, чудо из чудес! Шехерезада среди моих повес!».

И Шехерезадами для меня, разумеется, были все вокруг: моя соседка по парте (вторая парта по среднему ряду) Светка Анисимова, моя соседка по парте по левому соседнему ряду Светка Иванова. И даже предатель Вовка Груздев. А мы с папой, уж мы с моим неведомым папой всегда среди повес!

Я выбрала сама для себя в этой жизни путь повесы и обозначила уже в восемь лет приоритеты — в своем стихотворении о гусарах: «Что нужно гусару? Совсем ничего! Гусару гитару да в зубы сигару. А в руки карты и деньги в карман...».

«Юля отдает честь военным на улице и особенно часто морякам» — в то время в своих дневниках писала мама.

В своей детской книжке «Бородино» (и опять всплыл мой кумир и наставник, гусар Лермонтов!) я подрисовывала, а вернее, подкручивала гренадерам всем усы (мне казалось, художник чуть-чуть не докрутил) и черточками направляла и доводила до цели не долетевшие пушечные ядра.

В девять лет я выучила пушкинскую поэму «Граф Нулин». Всю поэму! Потому что ее читал на пластинке Сергей Юрский. И мне нравилось за ним, перенимая его такую кошачью манеру повторять:

*К несчастью, героиня наша...
Ах, я забыл ей имя дать.
Муж просто звал ее Наташа...*

Но мы — и голос Юрского был такой лукавый!

Но мы будем называть Наталья Павловна...

Ну и, конечно, «Юнона и Авось»! И этот рокочущий голос с хрипотцой: «Ежели материальные затруднения окажутся единственной преградой на пути к американскому континенту, готов буду на собственные средства приобрести две шхуны на Санкт-Петербургской верфи и, придав им соответственно наименования “Юнона” и “Авось”, преисполнен решимости буду в начале лета 1806 года пуститься в плавание к берегам Нового света!»/

Или когда жениху этой прелестной Кончиты граф Резанов (а играл его прекрасный Караченцов) бросал: «Дуэль?! Щенок! Оставьте нас! Я объясню ему без переводчика!»/ Всю жизнь отдала б в десять лет, чтоб вот так тогда сказать!

И зависали над залом — и все это во время спектакля! — настоящие морские форштевень и бушприт. И вся сцена качалась на волнах, попадая форштевнем, касаясь сердца зрителя.

И я смотрела постоянно в бинокль и приближала к себе и увеличивала перед собой каждый раз лицо Резанова. Особенно в тот напряженный момент, когда он, уже давно простудившийся, больной, отвечает на просьбы матросов остепениться, образумиться: «Мичман, отплытие на носу, а состояние шхуны отвратное! Все бабьи сплетни в голове! Все свободны!».

И начинался неумолимый отсчет. Резанов, он на моих глазах умирал — тогда, когда был виден маяк Новоархангельска!

И меня колотило от криков матросов: «Живее, черти, коня графу Резанову! — Куда ему коня! Разве что в ящик! — Обещал вернуться через год и тогда... — Может не успеть! — Нет, нет, нет, он успеет! Он — везучий!». И так мне было важно услышать, что — везучий. А через много лет меня взяли юнгой на ладью, на настоящую и при этом поморскую ладью. С парусами и с настоящими мачтами, бушпритом. И с поскрипыванием, как у Роберта Льюиса Стивенсона, рей. И с пеньковой веревкой. И с зюйдвесткой.

И с бушлатом, на котором проштамповано было и как раз где-то на уровне сердца: остров Мощный. И мне дали этот настоящий бушлат, пускай и на короткое время, поносить.

Ладья пришвартовалась в Москве по пути в Петрозаводск. Валера, мой будущий начальник по вахтам, драил палубу. Со швабры свисали переплетенные «дреды» из каната. Чтобы воды зачерпнуть, ведро надо было закинуть тут же за борт.

Нам предстояло пройти, как Валера сказал мне — «через Рыбинку» (это Рыбинское водохранилище), потом зайти в город Череповец (как Валера сказал мне — «в Черепок») и оттуда попасть уже в знаменитое Онежское озеро — Онего.

На двери в капитанскую каюту по-английски было написано «crew only». Столы были подвешены к потолку. Макароны (по-флотски конечно!) варились, все такое. Камбуз — это газовая плита.

Помимо юнги («зуйка», как мне Валера сказал) я должна была быть еще подкокорем. «Под кем, под кем?» — я, растерявшись, с блокнотом в руках переспросила (в блокнот я заносила обязанности).

— «Под кем?! Под кем?! — Валера меня передразнил. И объяснил вразумительно: «Подкокорем!» («а подкокорь — это кока помощник!» — я в блокноте записала).

Название лодьи, да, да, именно лодьи, не ладьи («лодья» — это если говорить по-поморски, объяснил Валера) было выписано резными деревянными буквами по борту. На вахту ночную — «собачью» Валера меня брал. Во время прохождения шлюзов я кричала диспетчеру в черную и потрескивавшую трубку. Шершавые стены с какой-то слизью зеленой над нами во время прохождения шлюзов возвышались.

«Кранцы за борт!» — мне по-морскому командовал Валера. Вывешивать кранцы — надувные резиновые шары, похожие немного на тыквы, была моя главная обязанность.

И я их то поднимала на борт, то опускала (чтобы борт не ударился о стенку). А один раз нас качнуло немного о стенку, и один из кранцев сдулся. И воздух из него с таким шипением выдулся: ш-ш-ш...

Горели бортовые огни, зеленый, красный. Вместо «понимаешь» Валера говорил мне по-свойски просто — «по»: «Ну, ты по, наконец, как крепить концы на “уточках”?»

И что помню еще? Что в один из серых дней (а солнечных дней из-за непогоды было мало) меня подняли и подтянули на мачту. Ну, посмеялись. Ну, пофоткали. А потом все на что-то отвлеклись. И я вишу себе и вишу. Я вишу себе, вишу. Заморосил дождь и я холодную и мокрую мачту обхватила.

А как входили мы в гавань Петрозаводска, проспала. И помню только, что смотрю и смотрю на пенопласт (и откуда там взялся пенопласт?), а он большими ломтями у серого и хмурого берега качается.

Мой приятель родился под Ригой, живет на Рижском взморье. И я расспрашиваю его постоянно: как там море? И он мне пишет в ответах: «Пью молоко из прозрачной кружки». Или «На велосипеде еду на реку». Или: «А ты видела когда-нибудь такое соломенное море, а?».

Другой мой приятель, Миша Ротин, работал на биостанции МГУ во время экспедиции на Белое море, котломоем. Он мыл на полевой кухне котлы. «Водоизмещение котлов, которые я за это время намыл, равнялось бы водоизмещению среднего рыболовецкого судна», — шутил Миша.

И еще у меня был приятель такой — Толик. Из Африки (да, вот ведь, кстати, из Африки! из Африки!!!) он привез мне два спичечных коробка с семенами африканских растений. Чтобы я их посадила. Ну и я их взяла и посадила.

На одном коробке было подписано шариковой ручкой «поливать чаще», на другом «поливать реже». И я все правильно делала и все так, как было написано на коробках, поливала. Но не выросло ничего, кроме какого-то попугайного овса. И овес явно наш, не африканский.

И до сих пор я не могу, не оглянувшись, пройти мимо лодочных деревянных летних станций, на которых весла обычно всегда пронумерованы. И поскрипывают не смазанные уключины. Увидев лодку на берегу, я постоянно тянула туда маму.

И мы отправлялись в пленительное плавание. Всего час у нас был на это плавание! И из него, оставив мамин паспорт в залог на берегу, мы обязательно должны были вовремя вернуться. Поставить весла обратно в кладовку на место и сдать этот оранжевый спасательный круг и спасжилет.

Сколько рек, переливающихся золотой рябью на солнце, мы прошли! От скольких лодочных станций мы отчалили! И сколько раз проплывали под мостами, под деревенскими поселковыми мостами, когда под каменным сводом или под деревянным настилом звучит эхо.

И был еще Донской монастырь, я родилась от него недалеко. И мама там гуляла со мной. А там вдоль стен монастыря горельефы, горельефы. И моя мама (ну там, наверное, какая-то удобная для нее лавочка или скамеечка была) всегда останавливала коляску со мной там, где на стене изображен был Дмитрий Донской. Он, преклонив колена, просил благословения перед битвой. Его лицо, немного взволнованное перед этой битвой грядущей, надо мною нависало.

И я запомнила его бороду, усы. И не успевший запомниться отец вдруг стал — Донским. А в следующий раз уже опять уносящимся за летучим отрядом Дениса Давыдова гусаром.

Нашла свой школьный портфель, бежевый, из кожзаменителя, новехонький. Нашла мамино рыжее пальто с оловянными рыжими пуговицами (их я срезала на замену потерявшихся шашек или фишек!).

Нашла свою детскую хоккейную зеленую клюшку и рапиру. Коробку из-под настенных домашних часов «Слава». Пообносившихся, со стертым оловом прижатого к груди автомата, зеленых и вдобавок еще и в зеленых пилоточках, солдат. И я вот как-то не щадила солдат. Столько лет прошло, а они у меня лежат после боя все вповалку.

Нашла нарисованные мною для мамы открытки ко дню рождения. Мои зашифрованные к ней какие-то очень личные обращения и письма: «Мама, если ты захочешь мне что-нибудь написать и сказать сугубо лично, напиши на конверте, где адрес, что это “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО!”», я пойму».

Нашла деревянные пяльцы (мама очень хотела, чтобы я занималась вышиванием). Нашла пластмассовые ножи к пластилину из набора.

Нашла сову. В кружке макраме я сплела однажды полярную белую сову. Но на удивление с изумрудными, а не с янтарными, как ей на самом-то деле положено, глазами.

Нашла мамины французские словари. Ее тетрадки с переписанными куплетами песен — песен Визбора. Переписывая, тогда учили слова.

Нашла вырезанные мамой из журнала «Работница» рецепты. Ни одним мама из этих кулинарных рецептов не воспользовалась, ни одним из советов по шитью. Но тщательно все равно вырезала их, наклеивала. У меня на все случаи жизни две тетрадки таких вырезанных из полученных по почте журналов кулинарных и житейских советов от нее.

Нашла мамины отзывы о себе по домоводству. Когда мы проходили домоводство, то родителям нужно было обязательно писать о блюде отзыв. И мама меня всегда неудержимо хвалила: «Гречневая каша получилась у Юли хорошо!».

Еще нашла свои детские пластинки. И я не знаю, что со мной бы в детстве было бы без пластинок. Так же, как и без всех этих лодочных станций и пронумерованных весел, радиол.

У меня была радиола «Ригонда», обтянутая сетчатой тканью. Одновременно приемник и проигрыватель. Там, где приемник, была и шкала радиоволн. С перечислениями частот городов. И меня завораживал неведомый город Беромюнстер.

Аудиосказки и литературные инсценировки с пластинок: «Звездный мальчик»... Или вдруг из памяти выплывет: «Арго-о! Разве путь твой ближе, чем дорога Млечная?..». «Танго, танго» поет Иосиф Кобзон, «Гуантанамера» Дина Рида.

Ну и «Богатырская сила» Стаса Намина! Когда на ударных там еще было такое вступление «джих-джих» и говорить надо было серьезным, строгим голосом: «Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей! Не оскудела в сердцах молодецкая удаль! Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песней силу нашу, силу гордую, богатырскую!..».

Диафильмы давали тебе изображение с прокручиванием каждого кадра и с горячим сияющим лучом, а пластинки все переполняли тебя звуком.

Иногда заедала пластинка, но не страшно. Ты иголочку одеколончиком маминым протрешь.

Олег Даль, он мой любимый артист, он записал на пластинке стихи Лермонтова. Любовь к Лермонтову передалась ко мне от Даля.

В моем детстве в одном из театральных музеев была выставка, на которой были представлены дневники Олега Даля. В своих дневниках он постоянно о чем-то все думал, размышлял. И я ходила в музей и переписывала тогда строчка за строчкой его мысли. Я ходила, пока не переписала весь дневник.

И потом уже в своем дневнике я писала отчасти его почерком, мною тщательно повторяемым, скопированным: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая шутка...». Сомнений у меня тогда в этом вопросе просто не было.

И параллельно вставляла свои мысли: «Вчера сдавали в школе два километра на время. Я проиграла буквально три секунды, а Светка с соседней парты, что слева, впереди!».

На выставке был восстановлен еще уголок квартиры Даля: его кресло и его любимые книги, книжный шкаф. И такая домашняя обстановка там возникла, что мне захотелось увидеть Олега Даля дома.

И вот чтобы его увидеть дома, я обычно держала зимой открытой форточку. Мне казалось, что он в открытую форточку войдет.

Сурикаты меня погрузили сейчас в воспоминания, они раскатали все целлулоидные ленты диафильмов, рассыпали картинки из географического лото «Вокруг света» — мыс Дежнева...

«Приметы осени» — я на антресолях недавно нашла книжку. Раньше сборники выходили для детей: «Утро» (с подборкой стихов всех про утро), «Зима», «Вечер»...

В весеннем сборнике Блок: «Гроза прошла, и ветка белых роз...» Зимой Есенин, конечно, его пресловутая «Белая береза...».

В «Приметах осени» я запомнила стихотворение Бальмонта:

*Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце только грустнее...*

Пластинки деда я недавно нашла на антресолях. Единственное, что мне про моего деда известно, это то, что он научился играть на мандолине. Не на гитаре, или как его старшая дочка, мамина сестра тетя Люся, не на аккордеоне, а именно — он собирался блеснуть! — на мандолине.

Он виртуозно играл на мандолине. Моей бабушке посвящал, и не только по праздникам, стихи.

А мандолина ведь дальняя родственница лютни! А лютня ведь это, конечно, менестрели!

И для меня дед остался менестрелем. Что нисколько не противоречило тому факту, что одновременно он работал токарем-фрезеровщиком на заводе Ильича.

Дед с товарищами по заводскому оркестру, с мандолиной. «Третий справа в пятом верхнем ряду Юлин дедушка Вася» — подписала моя мама.

«Ригонда» была стационарным проигрывателем, и ее никуда не возьмешь, не унесешь. Но у меня еще сохранился чемоданчик. Такой проигрыватель, который немного похож на чемоданчик. И там, когда крышку откинешь, проигрыватель.

На 33 оборота не работает, механизм уже давно износился и иголка почти стерлась. Но на 78 оборотах еще тянет. И можно послушать там «На улице дождик». Эту песню поет сейчас Русланова. И она поет ее очень тихо, очень тихо. И мне слышно, как прокручивается и прокручивается пластинка.

Пластинки непривычные для винила из моего детства, звук чуть разный. Русланова у меня на моей детской пластинке и на дедушкиной разная.

Вдобавок я еще очень люблю роман писателя Уильяма Сарояна «Приключения Весли Джексона» и там все время звучит песня «Валенсия»: «Валенсия!..» И вдруг я ее в стопочке этих дедовских патефонных пластинок нахожу.

В другой книге у моего любимого Сарояна главный герой, а его зовут Арам, спрашивает у своего двоюродного дяди: «Ты помнишь моего отца на улицах Битлиса? Ты видел его? Ты видел, как мой отец ходил по улицам города, выстроеного в горах?» Я прыгнул со

ступенек и стал прохаживаться перед домом. «Вот так он ходил? Вот так он ходил там, у себя на родине, ты видел?..».

А мне и спросить, кроме мамы, о том, как мой папа ходил, да даже пусть по этим шпалам железнодорожным дурацким на той фотографии, не у кого.

И все эти воспоминания для меня, как огонек в медицинской пузатой старой банке. Настоящий огненный праздник от мамы из детства, феерия! Когда наматываешь ватку на спицу, окунаешь кончик в спирт и потом эту зажженную и горящую на кончике спицу опускаешь внутрь банки.

Нашла свой школьный дневник метеорологических наблюдений в третьем классе. В графе «ноябрь» там задаются такие вопросы: «Ты заметил, когда вечером зажгли электрический свет?», «А куда сейчас исчезает дождевая вода?». Ну, вот куда исчезает эта самая дождевая вода?! Тридцать лет прошло, а я думаю над этим.

И приятель тот с далекого Рижского взморья мне сейчас пишет: «Если к тому времени, когда ты напишешь ответ, мы еще не снесем кусок забора, на котором висит у нас сейчас почтовый ящик, может быть, получу твое письмо».

«Лепестки на полу, легко как-то, — пишет он. — На нашем мраморном черном полу утром легли лепестки львиного зева».

Бандероль, проштампованная почтой, как хранимые мамой тети Люсины письма из Китая. Сура сейчас обожествил батарею. И каждый вечер он теперь обнимает и обнимает батарею. Батарея ему, наверное, заменяет сейчас солнце. И он чугунное ребрышко обнимет. Особенно третье, которое с левого края, ему нравится.

К сожалению, Африки у нас из окна пока не видно. И мы пьем в такое безысходное время витамины, мы подключаем специальную ультрафиолетовую лампу.

Над тазом с песком у нас включена эта самая ультрафиолетовая лампа. И сурикаты под лампой играют и копают. Они наиграются и привалятся к бортику песочницы. А потом они разыграются снова, и песок у них вылетает из-под лап.

Я песок им покупаю речной и возможно, что даже с песчаного обрыва, где оголенные корни у сосен свисают перекрученными морскими узлами над водой.

Песок с вкраплениями от ракушечек моллюсков. Песок от берега маленькой реки, когда привязана к дереву походная кружка алюминиевая: подошел, кружку снял, воды попил. Песок у берега утрамбованный и пропитанный рыбой, рябью, ряской.

Мы пересмотрели (и все это для поднятия морального духа) самую первую версию диснеевского «Короля льва» по интернету. Как дождь после изнурительной засухи, для нас эта музыка саванн.

Все это по-шамански пронзительное и колдовское начало в «Круге жизни». В «Лев спит» («Lion sleeps tonight») мы тысячу раз подпевали в начале: «Ви-и-иии, и-и-иии, ви-ам-ам-а-вэй...».

Мы переслушали сейчас еще «Времена года» Чайковского, Вивальди. Звучал один из самых моих любимых месяцев у Чайковского — июнь...

Потом поставили «тррр-ча-ча, тррр-вумба!» еще одного нашего африканского певца и кумира — Африка Симона.

Потом аудиофайлы с шумами африканской пустыни (есть такие). Как когда-то на моих мягких и синих пластинках из детства — «Кругозор». На этих пластинках многие песни и репортажи придумал Юрий Визбор.

Его репортажи могли начинаться словами (Юрий Визбор писал тогда об Арктике): «Наверное, нет в Арктике такого дома, такой стены, где бы не висела фотография любимой...». И звучит песня.

Или: «Это страницы из лирического дневника, написанного в Арктике на Земле Франца-Иосифа, которую еще называют ЗФИ...». И снова песня.

И было слышно дыхание человека, идущего по этой Земле Франца-Иосифа. И завывание ветра. И скрип снега. А сейчас вот появились все эти просто аудиофайлы: шум пустыни...

Бушкрафт — такое новое популярное развлечение в ю-туб. Когда люди там куда-то идут, а ты все смотришь.

Они приходят воды набрать в чайник, а вода в реке замерзла. Они раскалывают носиком от чайника лед, опускают в воду термос. И слышно, как вода заливается в бутылку.

И мы с Ритой смотрим и смотрим — интересно! И сегодня к нам Сура подключился. Сурикат-мальчик, он все-таки должен уметь развести в лесу огонь!

Во время «Бременских музыкантов» Риточка не сводила глаз с экрана. И на песенке капризной Принцессы, и на серенаде влюбленного в нее шалопая Трубадура. На куплетах марширующих стражников, волочащих за собой пушку, грянул выстрел, и Ритося нырнула под подушку.

«Рита, Рита, сурикатов показывают!» — я кричу ей, если сурикатов показывают. И Рита, а мы с ней документальное кино про сурикатов смотрели, прибежит.

Как девочке, ей еще нравится (и очень-очень-очень, конечно) Бобби Фаррелл. Ну, кому из сурикатов-девчонок не понравится этот Бобби Фаррелл! Его танцы и все эти «By the rivers of Babylon». Ну и «Sunny» конечно. «Daddy cool».

«По переулкам бродит лето» (Рите нравится еще Муслим Магомаев, мы включаем). Сура любит — «Король оранжевое лето».

Я подарила сурикатам свой глобус, они вертят. И то Африка у нас, ну а то Антарктида промелькнет.

Я принесла им из леса чурбачки. Они труху из середины подгнившего дерева всю вынут. Они спрячутся, как будто бы в жерле у гаубицы, выглядывают. Как Мюнхгаузен перед знаменитым полетом на Луну.

Открываю постепенно балкон. Солнечные дни у нас постепенно прибавляются, и сурикаты сейчас на посту стоят подольше.

Песочные часы у меня сейчас осыпаются в колбе — три минуты. Сейчас на разное время их делают, но у меня и у нас есть три минуты.

И что я могу вам сказать за три минуты? Что у меня Рита — а я ведь еще не говорила об этом! — из Кронштадта! У нее мама из Вологды, а сурикат-папа, и в это сложно конечно поверить, из Кронштадта!

И так сложилось, что Риточка получила в детстве травму. И половину уже этой книги провела — будучи ее главным героем! — с произошедшей этой травмой. Ей пришлось ампутировать часть передней лапы. Так бывает.

Во время операции Рита держалась очень мужественно. А после она была вся измазана в зеленке. И я тогда называла свою любимую Риту просто — Риной, как артистку, когда-то сыгравшую Тортиллу. Рина и Рита Зеленые. И неунывающие обе!

Рита увидела сейчас свое отражение, удивилась. Ей показалось, что это не ее отражение и даже не ее любимого Суры, а какого-то нам чужого суриката. И она начала свой устрашающий танец перед зеркалом.

Рита цапнула вчера настоящего подполковника милиции! У нас в гостях была старая мамина подруга. И от нее очень вкусно пахло яблоками. Рита не удержалась и тяпнула товарища подполковника два раза.

«Да у вас Рита, — сказала подполковник в отставке Галина Григорьевна, — как я погляжу, рецидивистка!»

Сурикаты у меня солнцепоклонники. Они принимают подолгу пронизывающие солнечные ванны. Они лежат у меня сейчас на балконе, распластавшись.

Кто рано у нас утром встает, тот на балкончик побыстрее бежит и на солнце (скорее, скорее!) пузо греет. Луч солнца на животе сурикатов как один большой горчичник.

Темные круги вокруг глаз не от усталости, а они отражают лучи солнца. Чтобы сурикаты не щурились на солнце. Не крокодил проглотил от жадности солнце — сурикаты.

В ракушки, а я им отдала и ракушки, сурикаты засовывают носы. Аккордеон отдала, и Рита тычется кнопочкой своего черного носа в его кнопки. Любимейшее занятие Риты: засунуть в дырочки на моей глиняной дудочке свой нос!

Сура смотрит с балкона на качающиеся от ветра деревья и на листья. На дорогу, по которой я когда-то возвращалась из школы, на асфальт. Он заметил, что дворники свои лопаты недавно сменили на метелки.

Как я любила всегда, когда мне мама разрешала переночевать вот этой вот ранней весной на балконе! Когда раскладывалась на балконе раскладушка. Когда ты вроде бы дома и вдруг нет. И этот запах от прорезиненной ткани раскладушки...

Когда я в школе училась, то оставляла тетрадки на балконе. Страницы тетрадок обветривались и покрывались всегда на балконе слоем пыли. И на балконе там все, просто все покрывалось слоем пыли.

Мой капитанский мостик — балкон! Балкон — приобретенное чувство высоты. И обязательно, чтобы ни этажом и не выше и не ниже.

Вовка Груздев, он ведь жил в нашем доме на четырнадцатом, и у меня в гостях постоянно кружилась голова. А на своем родном мне этаже и балконе не кружилась.

Люди утром расходятся сейчас на работу, Рита смотрит. «А тучи над городом встали? А в воздухе пахнет грозой?» — интересуется.

И мы увидели прям с Ритой сейчас — ну вот сейчас! и откуда он взялся в Москве?! — настоящего дельтапланериста!

Мы посмотрели на Африку в ю-туб. Мы полюбили, и мы оценили сейчас веб-камеры. Мы подключились к местечку в Южной Африке.

Мы присматриваемся сейчас уже потихонечку к Африке, присматриваемся. И самое главное, что и Африка потихонечку тоже присматривается к нам.

Мы посмотрели сейчас на Африку днем, потом и ночью. Как по экрану мелькали мотыльки. И как сверкали еще иногда в темноте чьи-то глаза, молнии ударили вдалеке. Летали и жужжали жуки, временами ударяясь о камеру (нам слышно).

С подводной камеры, и это уже были съемки в Канаде, мы посмотрели миграцию лосося.

Мы посмотрели прямое включение, трансляцию у гнезда белоголового патриарха-орлана на Аляске. Хотя чего там на него нам смотреть? Ведь он сидит себе и сидит. Он сидит себе, сидит. Он высиживал в то время птенцов. А через время, когда мы еще разок подключились, орлята!

Включили сейчас веб-камеру в Африке, а у них вечеринка в чистом поле. Искры от костра поднимаются в небо, голоса певцов разносятся.

Когда мы слушали, как поют коренные африканцы, то мне кажется, что и Рита и Сура понимали родную для них речь.

Цветные хвосты

Ирина Лукьянова

— Вымоет мама зеленого сына, смотрит, а он — не зеленый, а синий. Синего мама еще не купала — и начинается дело сначала, — я вздохнула.

— Слушай, а давай их в самом деле выкрасим, — сказала Женька. — А то я уже запуталась, кого кормили, а кого нет. Они кишат все время.

— У нас пищевых красителей нет.

— Ну давай фломастерами покрасим.

— Фломастерами вредно.

— А мы хвосты покрасим.

— А хвосты не вредно?

— Ну не будут же они хвосты облизывать?

— Ты уверена?

— Мам! Они опять сбежали!

— Не было бабе заботы, купила баба себе шиншиллу!

— Ты так и будешь разговаривать одними цитатами?

— Да у меня своих слов нет!

Они опять разбежались, да. Они просочились сквозь прутья клетки, где спокойно сидела их мама Муся, и моментально оказались в разных углах комнаты. Они уже с первых дней рождения оказались невероятно прыткими.

Их рождение, как и любое событие в нашей семье, было ознаменовано воплем.

— Мама, у Муси в клетке мышь!

Я прибежала на крик Андрюшки. Муся дремала на полу клетки, а рядом с ней возилась — ну не мышь, конечно, но что-то мохнатое размером с мышь. Вроде как мышь, но с пушистым хвостом и огромными усами. А рядом еще одна.

Потом на кухне завопила Стрелка. Так, как будто встретила врага, — как минимум черно-белую Асю из соседнего дома. Враг обнаружился рядом — третья мышь. Ну или не мышь. Мы нежно подобрали это существо, заперли Стрелку на кухне с едой и внимательно разглядели. Или-не-мышь была зубастая, глазастая, усатая, с кисточкой на хвосте, с кенгурячьими задними лапами. Она отличалась от взрослой шиншиллы только ушами. У взрослой шиншиллы уши стоят на макушке, а у маленькой — прижаты.

Четвертая или-не-мышь была поймана под шкафом, где уже пристраивалась жрать обои.

Мы нервно оглядывались и прислушивались: не завозится ли где-нибудь еще пятая или-не-мышь. Но все было спокойно. Отец новорожденных Пунш вылез из гамака и меланхолично жевал сено. Мы сразу отсадили его в запасную клетку — ну на всякий случай, вдруг решит обидеть детей. А младенцев собрали и ссыпали в клетку к матери.

Младенцы, пища и толкаясь, рванули занимать очередь за молоком. Мать поглядела на нас с укором, будто спрашивая, дадут ли ей спать в этом доме, и развернулась молоком вперед. Молока оказалось мало. У шиншиллы, как у людей, два соска, а не как у собак — в два ряда по всему пузу. И рожают шиншиллы, как люди, — одного детеныша, ну двух. Трех иногда. А чтобы четырех — это как у людей четверняшки. Но рождаются они не как какие-нибудь человечки или мышки — голые, розовые и беспомощные. Нет, они выходят в этот мир уже одетые в шубки, вооруженные острыми зубами, смотрят открытыми глазами и готовы покорять пространство.

Пока я об этом всем размышляла, двое младенцев подрались за молоко и пустили в ход острые зубы, а еще двое расплозились покорять пространство: сплющили свои головы, сделались плоскими, как коврики из мышиной шкурки, просочились сквозь полторасантиметровую щель между прутьями клетки и отправились по своим делам. Мы разняли дерущихся и установили очередь в столовую. Затем отсадили пообедавших, отловили сбежавших и отправили кормиться. Двое отобедавших влезли на прутья клетки и собрались бежать. Двое голодных устроили драку.

Так дело не пойдет, решили мы, нашли в хозяйстве моток стальной проволоки и натянули ее поперек прутьев. Дети потыкались-потыкались в проволоку мордами, вздохнули и отправились драться.

Я пошла читать форум шиншилловодов. И писать «помогите, люди добрые».

Шиншилловоды спали и не откликались. Только один предложил взвесить малюток, чтобы посмотреть, наедаются ли они.

Я притащила кухонные весы и стала взвешивать. Но как только я взвесила первого (48 граммов) и отпустила его в клетку к братьям и сестрам, он растворился среди них. Все четверо были одинаковые: светло-серые, спинка чуть темнее головы, хвост с кисточкой, усы до середины спины. Они вообще никак не отличались друг от друга. Ну только если им заглянуть под хвост — тогда можно было углядеть, что двое — мальчики, а двое — девочки. А по-хорошему-то надо было им дать имена и вообще как-то научиться понимать, кого уже взвесили, а кого нет.

И вот тут дочь сказала:

— Давай их пометим.

— Ага, как кур у бабушки, — откликнулась я.

В маленьком городке у бабушки каждый хозяин метил своих кур – один чернилами, другой зеленкой. По улицам ходили куры с фиолетовыми и бирюзовыми пятнами на спинах.

Но мы решили выкрасить им хвосты. И выкрасили: в красный, синий, зеленый и желтый. Теперь младенцы, кажется, стали отличаться друг от друга, и мы задумались об именах. Я предложила назвать их по-лююисовски: Питер, Эдмунд, Сюзан и Люси. Но дети забраковали мою идею и разрешили мне назвать только Люси, самую маленькую и шустрю. Хвост у нее был желтый.

Самую толстую, важную и сильную, с красным хвостом, Женька назвала Пеппи, а веселого и ручного мальчишку с зеленым хвостом – Юм-Юмом.

Андрей долго думал и предложил для последнего парня имя «Дюран» — в честь любимого мастера комиксов. Хвост у Дюрана был синий. А сам Дюран – замкнутый, необщительный и малоподвижный.

Дети обрели свои индивидуальности, поели и собрались спать. Ну и мы разошлись по кроватям.

Утром оказалось, что брат и сестры покалечили Юм-Юма: ободрали ему кожу на голове, оставив плешь размером с десятикопеечную монетку, и порвали нижнее веко на одном глазу. Малыш сидел грустный, скукожившийся, бедный – и, кажется, собирался помирать. Пеппи на него цыкала и покушалась. Мы отсадили Пеппи.

Я кинулась на форум шиншилловодов.

«Детям не хватает молока! – сказали шиншилловоды. – Мать не рассчитана на кормление четверняшек. Поэтому они дерутся за жизненный ресурс. Детей надо срочно докармливать. А еще надо завести кухонные весы и взвешивать на них щенков. И записывать привес».

Щенки – это дети шиншиллы. Их так правильно называют.

Докармливать их положено десятипроцентными сливками. Из инсулинового шприца без иглы. Фигня вопрос, сказала я. Детей кормили, собак кормили, что мы – с шиншиллами не справимся?

Не справились.

Фигня вопрос – это выдрать пассатижами иглу из инсулинового шприца и набрать в него сливок. А вот дальше начинается квест.

Щенок шиншиллы, когда его берешь в руку, чтобы накормить, вертится, как щенок черта, если я правильно его представляю. Всунуть в него инсулиновый шприц со сливками – дохлый номер, по усам текло – в рот не попало. Усы у шиншиллы пышные, красивые, течет по ним выразительно. Но если младенцы собираются помирать от голода, моя задача – впихнуть в них эти сливки.

Уделавшись сливками по самые уши, я поняла, что младенцев надо обездвигить. Лучше всего спеленать, вот прямо как человеческих младенцев. Но какая же пеленка подойдет щенку шиншиллы? И тут до меня дошло. Носовой платок.

Берешь платок, кладешь туда зверька, пеленаешь, как грудного младенца. Скручиваешь пеленкой лапки, берешь в левую руку, подносишь шприц и ждешь, пока разинет рот. А когда разинет – скорей туда сливок.

Кормить младенцев полагалось каждые три часа, чтоб не померли от голода, и записывать привесы.

С крашеными хвостами и именами дело у нас пошло на лад: по крайней мере, мы перестали путать малюток.

Пеппи была чемпионом по привесам. Она ела больше всех, быстро толстела и собиралась стать крупной, красивой и независимой шиншиллой. Такие шиншиллы становятся матриархами, кошмарят всех кругом и обкусывают женихам усы, чтоб понизить самооценку. У шиншиллы вообще матриархат: женщины у них главные, они сами решают, за кого выходить замуж. А если им что не нравится, — не только усы могут жениху

откусить, но даже и пальцы на передних лапках. Дикие нравы, что делать. Кажется, это именно она задрала Юм-Юма. Доказать не могу, но подозреваю.

Дюран, второй по привесам, был упитанный, спокойный и безучастный. Совершенно погруженный в себя, он молча сидел в клетке, никуда не ходил и, кажется, пытался достичь нирваны. К людям он был совершенно равнодушен.

Юм-Юма нам приходилось не только кормить, но и постоянно обрабатывать его раны. Мазать глазной мазью глаз, ранозаживляющей – круглую тонзуру на голове. Тонзура – это выбритая макушка у католического монаха. Бедный Юм-Юм как раз выглядел так, будто сбежал из монастыря. Он быстро привык к рукам, с удовольствием бегал по нам, приходил здороваться: нюхал наши носы и смешно шевелил усиками. Он стал самым ручным из всей четверки.

Люси, самая маленькая, целыми днями упражнялась в акробатике. Она лазила по клетке, как по шведской стенке, а когда добиралась до потолка, переходила на потолок – и по-обезьяньи, на одних передних лапках, пересекала клетку под потолком, попеременно хватаясь за прутья то правой, то левой.

Труднее всего было соблюдать трехчасовые интервалы между кормлениями – особенно когда у тебя пять уроков подряд. Я мчалась домой после уроков, воображая, что мои малюточки там уже полегли рядком, ослабевшие от голода, а то и вовсе околели.

Малюточки меня встречали живым и веселым писком. Пеппи спокойно выходила, вставала на задние лапы и изображала усами «жрать давай», Люси носилась вертикально вверх-вниз по отвесным стенкам, Юм-Юм пищал и просился на ручки, а Дюран делал вид, что его ничего не интересует. Муся смотрела на меня, как одна мать смотрит на другую, и выражала лицом «забери их от меня хоть минут на пятнадцать». Муся отошала, из нее лезла шерсть.

Дети как-то удивительно скоро подросли. Чернила с их хвостов стерлись, но мы уже и без чернил умели отличать самодовольную Пеппи от замкнутого Дюрана, а гиперактивную Люси – от дружелюбного Юм-Юма.

У Юм-Юма зажил глаз, а от тонзуры на макушке осталась только небольшая вмятинка в красивом бежевом меху.

Все дети отрасли красивые розовые ушки, а на ушках появились хорошенькие темные конопушки, как у их папы Пунша.

Мама Муся научила их купаться в песке: рыть его передними лапами, бросаться в него, вертеться, отряхиваться. «Купание шиншиллы» — любимый семейный аттракцион: гости замирают, недоверчиво ржут и хватаются за телефоны – снимать видео.

Но тут стало понятно, что шесть шиншил мы себе не оставим, и что наших подросших детей надо отпускать куда-то в новую жизнь. Первой от нас ушла Пеппи: самая сильная, самая красивая, самая нахальная, — ее немедленно купили, чтобы она стала единственной принцессой в богатом доме. Я спокойно продала Пеппи: не могла ей простить драную макушку Юм-Юма. Но продавать остальных малышек я не смогла. Они же мои деточки, мои маленькие, нежные, моими руками выкормленные, в платочек завернутые!

Люси уехала домой к моей подруге-врачу и ее детям.

Дюран и Юм-Юм долго ждали хозяев. Они привыкли жить вдвоем, нежно укладывались друг на дружку, засыпая, и разлучать их было жалко.

Наконец, за Дюраном приехала девушка Саша. Посмотрела на эти братские отношения – и забрала обоих.

Примерно через полгода мне позвонила незнакомая женщина. «Это мама Саши, которая взяла у вас шиншил. Саша уехала, а у мальчиков понос! Я провожу им регидратационную терапию, скажите, чем еще им можно помочь?»

Это была Сашина мама, доктор, которой Саша оставила ребят, уезжая в отпуск. «Провожу регидратационную терапию» звучало надежно; я посоветовала добавить кору дуба погрызть — и поняла, что дети в надежных руках.

И тут мне стало невероятно грустно. Я потом узнала это чувство, когда мои собственные дети подросли и уехали из дома, а я осталась одна – с овдовевшей Мусей, к той поре уже матерью двенадцати повзрослевших и розданных шиншиллят. Никто не вопит, не ищет носки, не карабкается по клетке, не сбегает, не дерется, не висит часами на телефоне. Никому не надо к завтраму сочинение по литературе и доклад по биологии. Тишина и пустота.

Пеппи, Дюран, Юм-Юм и Люси. Тучка и Дождик. Слива и Вишня. Люк и Лея. Варя – Авария, рожденная в тот день, когда я залила ресторан под нами. И еще один безымянный малыш, который не выжил. Все остальные разъехались по новым домам, нашли свои семьи, зажили своей жизнью.

А мы с Мусей по вечерам смотрим друг другу в глаза: что, Муся, хочешь купаться? – Ну давай. Я ставлю ей купалку с песком, Муся неторопливо его копает, деловито в нем крутится, оглаживает мех. Шиповника сушеного хочешь? – хочу. Муся грызет шиповник. Я люблюсь. Мы никуда не спешим. Мы вырастили детей, отпустили их во взрослую жизнь, можем себе позволить не спешить и молча грызть шиповник.

Дунька

Наталья Волкова

Черепашу Дуню мне купили на Птичьем рынке. Помню, как мы долго ходили между рядами канареек в клетках, мышей и хомяков, как останавливались около аквариумных рыбок, и папа покупал шевелящихся красных червяков, «мотыль», в упаковочной бумаге. Потом этот мотыль лежал на полке в холодильнике, а папа по утрам скармливал его нашим гуппи. Я червяков боялась, ждала, когда живой корм закончится, и тогда уж кормила рыбок сухим. Рыбок мы тоже обычно покупали на Птичьем рынке. Продавец брал длинный сачок и опускал его в продолговатый аквариум.

— Вам сколько?

— Три меченосца, двух сомиков и барбуса.

— Пап, а давай возьмём ещё золотую?

Папа с сомнением смотрел на меня.

— Они такие капризные, золотые. Не выживет.

— Ну пап, пожалуйста. Я сама буду за ней ухаживать.

Папа сдавался. И потом мы ехали домой на том же троллейбусе, я держала в руках не полностью завинченную стеклянную банку, а в ней толкались и сустились ошалевшие рыбки.

Но в тот раз мы приехали за черепахой. Вообще-то, я всегда просила собаку. Даже плакаты по дому расклеивала: «Хочу собаку!». А иногда подходила утром к сонной маме и тихонько на ухо ей говорила: «Гав-гав». Мама улыбалась, но потом становилась серьезной и говорила: «Никаких собак. Кто с ней гулять будет?».

Так что в результате мы остановились на черепахе. Я приехала на рынок с грибной корзинкой, куда заранее нарвала одуванчиков и лопухов, чтобы ей и сидеть было мягко, и

перекусить было чем. Мы переходили от одного столика к другому, и разглядывала умные черепаши морды, но ни одна из них мне не казалась родной. И вдруг остановились около небольшой черепахи темного окраса. Она посмотрела на меня, я – на неё, и всё стало ясно: «моя». Продавец научил меня определять её возраст: сколько колец вокруг панциря, столько ей и лет. Черепаху я назвала Дуней. Ну а что? Созвучно с одуванчиками, которые она обожала.

Дома Дуня поселилась в коробке под батареей. Днем я выпускала её гулять по дому, а вечером сажала обратно в коробку. Прошло несколько лет, и моя лучшая подруга Света, глядя на меня, тоже завела черепаху Марусю. Иногда мы ходили друг к другу в гости и брали с собой черепах. Чтобы они поиграли, им ведь тоже нужно общество. Черепахи, правда, думали иначе и расплзались каждая по своим делам.

Однажды я предложила Свете:

— А давай выгуляем черепах в Ботаническом саду?

Она согласилась. Мы решили, что гулять в корзинках им не очень интересно, и придумали для них поводки: взяли бельевую резинку и обвязали вокруг панциря, а к резинке прикрепили суровую нить. В Ботаническом саду мы вбили в землю колышки и привязали к ним черепах, как коз. Они поедали одуванчики, мать-и-мачеху и подорожники, а мы играли в сторонке. Когда, наигравшись, мы вернулись мы к колышкам, то увидели, что Маруся сидит себе, как примерная девочка около колышка, а от моей Дуньки остался только поводок. Как она умудрилась вывернуться из резинки? Сначала мы не очень испугались: далеко ли может уползти черепаха?! Но, когда мы не нашли ее ни в кустах, ни за скамейкой, ни на клумбе с пионами, я расплакалась.

— Я её больше никогда не увижу, — всхлипывала я.

Но Света, в отличие от меня, человек рациональный.

— Без паники! – сказала она, оглядевшись по сторонам, велела мне не раскисать и не впадать в панику. – Вон в том здании — дирекция Ботанического сада, надо пойти к ним и написать заявление, что у тебя сбежала черепаха.

Так мы и сделали. Я написала заявление и оставила свой телефон на случай, если Дунька объявится. А Света внизу на всякий случай приписала и свой номер.

Две недели я почти не отходила от телефона, подпрыгивала каждый раз, когда он звонил. Но звонки были всё не те. Потом пришло время ехать с бабушкой в Дом Отдыха. Мне, конечно, совершенно не хотелось уезжать, но дедушка сказал:

— Поезжай. Если позвонят по поводу черепахи, я за ней схожу.

Я, честно говоря, сомневалась. Дедушка животных, наверное, любил по-своему, но всё же больше на расстоянии. Из Дома Отдыха я звонила дедушке каждый день.

—Нет, не появилась, — говорил он.

И вдруг однажды, когда я уже перестала надеяться я набрала номер, и дедушка закричал в трубку:

-Нашлась! Нашлась твоя черепаха!

Оказывается, из Ботанического сада наконец позвонили. Только не моему дедушке, а Светиной девятидесятилетней прабабушке. Она-то и сходила за Дуней, а потом передала её моему дедушке. Дедушка взял тряпочку, потому что брать черепаху в руки он брезговал, и так вот, в тряпочке, и вернул её в родную коробку.

Сотрудники Ботанического сада, передавая черепаху прабабушке, сообщили, что она умудрилась пройти весь сад насквозь и уже хотела улизнуть через противоположный выход, когда её заметили. Может, собиралась покататься на метро? Или посмотреть Красную Площадь? А может, у неё была мечта вернуться в пески какой-нибудь пустыни, откуда она родом? Жаль, что об этом она нам не рассказала.

Жизнь белой мыши

Екатерина Мурашова

Она родилась в питомнике, в пластмассовой клетке с решетчатой крышкой, среди желтых-прежелтых опилок, которые пахли лесом и норой между корнями деревьев. Ни она, ни ее родители, ни бесчисленное количество ее пра-пра-прабабушек никогда не были в лесу. Но запах узнавали. Такое вот чудо.

Сразу после рождения она так же, как и шесть ее братьев и сестер, была нежно розового цвета. Новорожденные мышата – слепые, и насосавшись молока, они спали, а молоко просвечивало белым сквозь их розовые брюшки.

Через пять дней глаза у нее открылись, а на спине появился белый пушок. Клетка была ее миром, в котором, кроме нее, жила мышь-мама и шестеро мышат. Мама казалась ей очень большой и вкусно пахла молоком. Где-то рядом жили другие мыши. Она чувствовала их запах и слышала, как они шебуршатся в своих клетках, но никогда не думала об этом. Другие клетки были для нее, как для нас – другие планеты. В выемку в крышке раз в день огромная рука насыпала пахучий комбикорм. Сначала он ее не интересовал, потому что ее едой было молоко, но однажды она вдруг с радостью обнаружила, что комбикорм – вкусный.

Питомник выращивал мышей, крыс и других лабораторных животных, а потом продавал их институтам и лабораториям. В институтах люди испытывали на мышах лекарства и проводили всякие другие опыты для развития науки. Кому-то это покажется жестоким, но ведь лекарства надо испытывать... И обстоятельства сложились так, что люди могут испытывать их на мышах, а мыши на людях – не могут. С точки зрения мышей это, конечно, несправедливо, но что поделать...

Наша мышь в институт не попала. Ее вместе с братьями и сестрами купил Ленинградский Зоопарк. Зачем Зоопарку мыши? Очень просто – их едят. Кто ест? Многие. Например,

хорьки, орлы, куницы. Даже муравьеды. Наша мышь попала в серпентарий – место, где живут змеи. Маленькие змеи тоже очень любят есть мышей. Большие змеи едят крыс. А удав Гоша мог целиком проглотить кролика.

Именно в это время мы с мышью и познакомились. В полтора месяца мышь – уже совсем взрослое животное. У нее были красные круглые глаза, белая шерсть с голубоватым отливом и желтый хвост с мелкими чешуйками. На вид она ничем не отличалась от двух десятков других мышей в клетке. Я не помню, почему выбрала именно ее. Я не люблю белых мышей, и мне было все равно.

В то время я училась в Университете на 4 курсе и одновременно занималась на кафедре научной работой. Мы с подругой изучали специальные клетки-макрофаги, которые отвечают за иммунитет у личинок морских звезд. Мы надеялись, что наши исследования помогут другим ученым, которые в те годы начали борьбу с только что заявившим о себе СПИДом. Ведь личинки морских звезд – первые организмы, у которых в процессе эволюции появился настоящий клеточный иммунитет.

Чтобы приготовить, а потом и исследовать препараты, нам и понадобилась мышь. Точнее, ее печенка, потому что личинки морских звезд слишком маленькие и хрупкие. Заморозив личинки вместе с мышьиной печенкой, мы должны были порезать их на специальном приборе – микротоме, окрасить и посмотреть под микроскопом.

Почему за мышью я пошла в Зоопарк? Тоже очень просто – до поступления в Университет я сама работала в Зоопарке, и у меня там остались друзья.

На следующий день в специальной клетке-переноске я принесла мышь на кафедру. Я не могу убивать мышей. За меня всегда делал это кто-то другой. Дело тут не в жалости. Современные дети, которые смотрят современный телевизор и играют в современные компьютерные игры, очень хорошо это знают. Просто убивать надо уметь. Я – не умею.

Наша с подругой научная руководительница сказала, что ей убить мышь – все равно, что чашку воды выпить. Я достала мышь из клетки, а она достала из ящика стола огромные ножницы. Мышь не хотела умирать и служить науке. Она хотела жить, поэтому укусила научную руководительницу за палец, пробежала по длинному лабораторному столу и спряталась за большой микроскоп. Я попыталась поймать ее, но мышь спрыгнула со стола на пол и спряталась за ящики с оборудованием. Научная руководительница очень рассердилась, окунула палец в склянку со спиртом и спросила, чистая ли была мышь. Я ответила, что, судя по виду, довольно чистая и в некотором смысле даже белая. Научная руководительница ушла, держа палец перед собой как свечку, а мы с подругой еще некоторое время безрезультатно ловили мышь. Я на мышь не сердилась – я ее понимала.

Несколько дней от мыши не было никаких известий. Внизу под нашей кафедрой располагался буфет, и мы решили, что она ушла жить туда, поближе к еде. Правда, в буфете жил откормленный, но все еще бодрый кот Макинтош...

А для заготовки личинок мы с подругой, наплевав на инструкции, использовали обычную говяжью печенку, купив 200 грамм в магазине кулинарии.

В следующий понедельник, примерно через неделю после своего чудесного спасения мышь дала о себе знать. Я собиралась начать новую серию исследований. Для этого требовалось изготовить препараты из парафиновых блоков, которые лежали на моем рабочем столе в чашке Петри. Парафиновый блок – это такой кубик из парафина,

прилепленный на деревянный брусок. Внутри парафина – собственно материал для исследования.

Придя с утра на работу, я села за стол, придвинула к себе чашку Петри с блоками и... похолодела. В стеклянной чашке лежало всего два деревянных бруска. Остальные были разбросаны по столу вдоль стенки...но! – ни на одном из них не было парафиновых кубиков! Минуты две я машинально вертела в пальцах один из двух оставшихся в чашке брусков, и до меня медленно доходило, что проклятая мышь попросту съела результаты трехмесячных экспериментов!

— Ну, надо же ей было чем-нибудь питаться, раз уж Маргарита ей голову не отрезала! – рассудительно сказала подруга, с которой я поделилась своим горем.

— Шла бы питаться в буфет! – в сердцах воскликнула я.

— Там Макинтош, — возразила подруга. — Может быть, она его боится. Если бы я была мышью, я бы боялась...

Остальные блоки я хранила не на столе, но, пока мышь жила в комнате, ни один из них не был в безопасности. Почти целый рабочий день я перетряхивала химреактивы и двигала ящики с оборудованием в поисках мыши.

— Может, ты просто ее кормить будешь? – чихая, предлагала подруга. – Ну, давай вот сюда блюдечко поставим и оставим ей что-нибудь. Она вечером придет и поест.

— А если ей парафин понравился, и она наши блоки на десерт жрать будет? – предположила я. Подругу эта мысль настолько не порадовала, что она выпила какую-то противоаллергическую таблетку и присоединилась к поискам.

Еще через час мышь была поймана в углу лабораторного шкафа, накрыта моей вязаной шапкой и помещена в переноску.

—Ну и что ты теперь будешь с ней делать? – спросила подруга. – Макинтошу на ужин скормишь?

Биологи – люди вовсе не жестокие. Они, можно сказать, даже любят животных. Потому и биологами стали. Просто любовь у них не сентиментальная. Наша мышь родилась только для того, чтобы послужить науке и умереть. Опыт мы уже поставили, змеи пообедали кем-то другим. И что теперь?

—Знаешь, она уже двух смертей избежала,—задумчиво сказала я. – Даже трех, если считать голод и Макинтоша за одно событие. Наверное, ей суждено жить. Я, пожалуй, ее домой возьму.

—Флаг тебе в руки, барабан на шею,—сказала подруга. – Я думала, ты белых не любишь. Сама же говорила, что у них глаза, как у вампиров... Тебе что, мышей мало?

—Да, в общем-то, хватает,—честно ответила я.

За несколько месяцев до описываемых событий мой друг – генетик подарил мне беременную мышь-мутанта с девятью точковыми мутациями. Спустя неделю мышь разродилась. Потом ее потомки скрестились между собой. На момент истории с белой мышью у меня в кухне в деревянном ящике жило полтора десятка удивительных для непосвященного взгляда мышей. Мыши были: коротколапые и короткохвостые; пушистые и пятнистые; голубые и оранжевые. При этом почти все мыши-мутанты были ленивы,

тупы и болезненны, как, впрочем, мутантам и положено (это только в фантастических боевиках мутанты обязательно сильны и агрессивны. На самом же деле все наоборот).

И вот в этот оазис сонного благополучия (деревянный ящик с линейными мышами-мутантами) я вечером, после работы, запустила свою беспородную белую мыш-дворняжку. Поужинала, покормила мышей и дочку, и пошла спать.

Наутро решила заглянуть к мышам: не было ли каких обид? Заглянула и с изумлением увидела, что ящик пуст. Что такое? Куда делись мыши, ведь проволочная крышка-сетка осталась на месте?! Подняла ящик и увидела, что в углу выгрызена аккуратная полукруглая дырка. Это за одну-то ночь? Притом, что мутанты жили в этом ящике уже месяца три и ни разу даже не попытались сбежать.

Итак. Белая мыш-дворняжка ушла на волю и увела за собой линейных разноцветных аристократов. Что же будет дальше? К вечеру мутанты проголодались и начали группами и поодиночке выходить на середину кухни. Вид у них был несчастный, потасканный и обалдевший. К длинной шерсти прилипли опилки, елочные иголки, комочки пыли и грязи. Свобода явно оказалась им не по зубам. Муж легко ловил почти не сопротивлявшихся мутантов и отправлял их обратно в ящик, предварительно оббитый жестью. Белой мыши среди пойманных не было. Впрочем, я этого и ожидала.

Через два дня я выбросила три погрызенных мышью пакета с крупой и принесла от друга-зоолога живоловку, в которую они в экспедициях ловили мышей-полевок. Настоящие мышеловки, в которых мыши погибают, были мне не нужны. Я не хотела убивать белую мыш. Я начинала уважать ее упрямую волю к жизни.

В живоловку на сыр мыш пошла практически сразу. Правда, у полевок, для которых приспособлена живоловка, нет хвоста. А у белой мыши – есть. Точнее, был, потому что часть его сразу же дверцей и прищемило.

Пойманную мыш я посадила обратно в оббитый жестью ящик. И началось!

Белая мыш уходила из любых ящиков, аквариумов и клеток. Она раздвигала стекла и прогрызала жесть. Она часами висела на передних лапах, чтобы прогрызть проволочную сетку. Вечером мы видели сквозь сетку розовый, в капельках крови нос. Мутанты сладко спали в гнезде, а белая мыш падала, разминала уставшие, исколотые лапы и снова прыгала, цепляясь за сетку.

— Не сможет! – уверенно говорил муж вечером, понаблюдав за мышью.

— Еще как! – возражала я.

— Ушла, — констатировал муж утром, обзрев аккуратное отверстие в сетке.

Мышь стала большой, тощей и поджарой. Шерсть пожелтела, в ее окраске ничего не осталось от бывшей молочной голубизны. Отсох и отвалился перерубленный живоловкой хвост. Практически все мои запасы крупы пришлось выбросить. Все имеющиеся емкости для животных пришли в негодность. Мутанты изредка уходили вместе с белой мышью, но легко возвращались назад в течении суток. Я не уставала удивляться упрямой воле к свободе, которая буквально сжирает белую дворняжку-мыш. Куда она бежит?!

И однажды я увидела! Сначала мне показалось, что мне показалось... Вдоль плинтуса между плитой и холодильником пробежала... промелькнула... нет, протекла длинная и узкая черная тень... Потом вторая, третья... Нет, я точно их видела! Но кто это?! У нас нет

черных мышей, да и размеры... По моим прикидкам, незнакомые зверьки были раза в полтора длиннее самой большой мыши из наших—белой мыши-дворняжки.

—Может, это крысы? – предположил муж.

—Нет, они узкие, и пластика другая, и цвет,—категорически не согласилась я. – Крысы зеленоватые, а эти были глубоко-серые, почти черные...

—Ну, тогда не знаю...—развел руками муж. – Разве что что-то неизвестное науке...

—Черные и длинные—это белой мышки детки,—невозмутимо произнесли из-под стола уста младенца, в лице нашей двухгодовалой дочери. – Они раньше были маленькие, а теперь выросли. Я их давно знаю.

—А почему же нам не сказала?!

—А вы спрашивали? – нешуточно удивилась дочь.

Мы с мужем посмотрели друг на друга и промолчали.

Теперь все, в общем-то, прояснилось. Белая мышь убегала из всех и всяческих клеток, ведомая одним из самых могучих инстинктов – инстинктом материнства. Где-то под шкафом или плитой ее ждали беспомощные, головастые существа, с короткими ушками и маленькими лапками, с трогательно коротким, поджатым к животу хвостиком. Без мамы им было голодно и холодно. Без мамы они могли умереть. И белая мышь раз за разом преодолевала все преграды, которые мы возводили на ее пути, и с перерубленным хвостом, исколотыми лапами и изодранным в клочья носом все-таки прорывалась к детям. Судя по результату, она ни разу не опоздала.

Внешний вид выросшего потомства тоже был понятен. Есть в природе такое явление, которое на научном языке называется эффект гетерозиса. Он заключается в том, что потомство далеко разошедшихся друг от друга ветвей одного вида в первом (и только в первом!) поколении отличается крупными размерами и повышенной жизнеспособностью. Мыши-мутанты и беспородная мышь-дворняжка как раз и были этими ветвями.

Черных мышей-детей мы видели редко и недолго. Они были ужасны. По размеру больше любой когда-либо виденной мною мыши, они легко ходили по бельевым веревкам, никогда не попадались в живоловку и легко запрыгивали с пола прямо в раковину. Трогать их и даже смотреть на них не хотелось, хотя их текучие движения невольно притягивали взгляд. Окончательно став взрослыми, они в один прекрасный день просто ушли из нашей квартиры, и больше мы их никогда не видели.

После истории с мышатами я оставила свои попытки адаптировать белую мышь к жизни в клетке.

— Пусть живет как хочет! – сказала я мужу.

— Счастливая! – вздохнул муж.

А я вдруг поняла, что моя белая мышь действительно – счастливая. Странно думать так про бесхвостую, покрытую шрамами мышь, предназначенную на корм какой-нибудь гадюке, но ... я так думала.

Каждый вечер я оставляла под раковиной блюдечко с едой, и постепенно белая мышь перестала прогрызать пакеты с крупой и растаскивать по всей кухне горох и фасоль. Ее

основной дом, судя по всему, был где-то за холодильником, но как у настоящего конспиратора, у нее всегда оставалось две-три запасных норы, в которых также были собраны запасы на черный день.

Разноцветные мыши-мутанты проживали свою короткую неяркую жизнь и постепенно вымирали. В конце концов, деревянный ящик опустел. Белая (точнее, уже желтая) мышь по-прежнему чем-то хрустела за холодильником. Прошло больше года и вот однажды я, случайно заглянув в стоявший возле шкафа ящик, вдруг увидела в нем белую мышь. Она смотрела на меня и шевелила серым, покрытым коростой носом, который когда-то был нежным и розовым.

—Смотри! Она вернулась! – закричала я.

Муж поправил очки и внимательно оглядел сидевшего в ящике зверька.

—Она больна, — сказал он. – Больше не может жить на свободе. Пришла в неволю умирать.

Я взяла мышь в руки (она не сопротивлялась) и осмотрела ее. Муж был прав. С правой стороны около задней лапы выделялась отчетливая опухоль. Я нажала на нее. Мышь никак не отреагировала. Не воспаление. Значит – рак, лабораторные мыши чаще всего погибают именно от него. Мышь не шевелилась, спокойно сидела на ладони и смотрела на меня темно-вишневыми глазами.

—Ну что ж, — вздохнула я. – Будешь теперь жить на пенсии.

На пенсии белая мышь прожила еще почти полгода (полтора-два года – нормальный срок жизни мышей). В последние недели она практически не могла ходить, но аппетит сохраняла почти до самого конца. Особенно она любила огурцы и сыр.

В последующие годы я часто вспоминала ее. В чем-то она была для меня примером. Вы скажете: как мышь может быть примером для человека? Не знаю, не знаю, но что-то такое было в ее упрямой и спокойной жизнестойкости, не покидавшей ее до самых последних дней длинной и наполненной событиями мышьиной жизни...

Носуха

Станислав Востоков

– Посмотрите, какой бежевый цвет!

Я только что закончил художественное училище и, как дипломированный молодой художник, уделял большое значение цветам, их сочетаниям. И очень хотел, чтобы это видели другие.

Мы с мамой и бабушкой стояли на нашем маленьком балконе и смотрели, как из переноски лениво, словно простокваша из опрокинутой банки, вылезает носуха. Её морда была похожа на чайник.

– Бежевый! – задумчиво сказала мама. – Бежать, беженцы... Какие-то неприятные ассоциации!

– Бомбоубежище! – припечатала бабушка и добавила. – Никакой он не бежевый, что ты голову морочишь? Коричневый!

– Корь, корчиться... По-моему, этот вариант не лучше!

– Бежевый и есть светло-коричневый! – обиженно ответил я. – Точнее, песчаный или цвет небелёной шерсти!

– Он мне ещё будет про шерсть рассказывать! – фыркнула бабушка. – Уж в шерсти я побольше твоего понимаю! Одних носков сколько связала! Ещё свитер, вот, на тебе.

Свитер действительно был на мне. Из верблюжьей шерсти. Ужасно колючий. Бабушка мне подарила его на день рождения. Но особенно бабушка любила дарить носки, тоже из верблюжьей шерсти. Шерсть я приносил из зоопарка, где работал в Отделе копытных. Хотя, вообще-то, верблюды относятся к мозолоногим. За несколько лет бабушка связала столько носков, что я их ношу до сих пор.

– Он колется, – хмуро ответил я.

– Считай, когда колется, это я тебя вспоминаю!

– Ты не можешь думать обо мне так часто!

– Чего это не могу?

Бабушка была уверена, что может всё. И, в общем, была права. Однажды она чуть не стала членом Совета министров Узбекистана. Помешало то, что она в юности поменяла отчество с имени родного отца туркмена Омана, на имя русского отчима Леонида. Думала, так будет лучше. Не угадала.

Я не стал спорить. Бесплезно спорить с тем, кто чуть не вошёл в Совет министров.

– Этот цвет ещё называют «беж», – добавил я, возвращаясь к началу разговора.

– Французское слово? – Мама была писателем и уделяла большое внимание значениям слов.

– К нам пришло из Франции. А произошло от латинского «беатикус». Беатикой называлась древнеримская провинция в Испании. Нам на уроках материальной культуры рассказывали.

– Не умничай! – оборвала бабушка. – Больно умный стал!

Умничать можно было только бабушке. У неё было два образования. Правда, вступительные экзамены в оба института за неё сдавала подруга. Но дальше бабушка училась сама. Вроде бы.

Наконец носуха окончательно вылезла из переноски и оглядела балкон. Тут находился мой зверинец, о чём говорил особый запах. Соседи утверждали, что он распространялся на другие балконы и даже на некоторые кухни. Но соседи терпели, за то, что я разрешал им

приходить и смотреть моих животных. А посмотреть было на что! Три совы-сплюшки, две сизоворонки – птицы тропического вида с ярчайшими голубыми крыльями, выводок игольчатых мышей с настоящими иголками в шерсти, сорокопут-жулан, ручной сокол-чеглок, ручная сорока, четыре южноамериканских жабы-аги, три южноамериканских же грызуна дЕгу, черноголовый полоз и скорпион, которого я поймал прямо в училище, на стене аудитории во время урока. Плюс попугай-корелла и сычик в гостинной. Сычик прятался за креслом, а попугай жил в клетке на обеденном столе и свистел мелодию из английского фильма «Мост через реку Квай». В спальне стоял аквариум с тритонами. Кроме того по квартире ползала черепаха Шурик, и где-то прятался хомяк. Он давно убежал из клетки, но где поселился, я никак не мог выяснить – он постоянно менял квартиры, как опытный революционер, вроде Ленина. Я находил только следы: обрывки газет, сухие макароны и старые носки. На одной его «квартире» были обнаружены две страницы рукописи из маминой новой повести. Пока мы спали, хомяк каким-то образом сумел вытащить их прямо из печатной машинки. Маме пришлось их перепечатывать.

Носуха подняла голову и пошевелила хоботком. В шеститомной энциклопедии «Жизнь животных» носуху отнесли к родственникам енота. Но на мой взгляд художника она больше напоминала помесь собаки с крысой. На крошку-енота из мультфильма по сказке «Кто сидит в пруду?» она совсем не была похожа. Скорее, на того, кто сидит в пруду: длинное, как у таксы тело, покрытое рыхлой медвежьей шерстью, медвежьи круглые уши, лапы с длинными медвежьими когтями и крысиный хвост. Голова-чайник плавно перетекала в носик-хобот, вроде того, что был у слонёнка из сказки Киплинга, когда крокодил только начал его нос вытягивать. Уже не нос – но ещё не хобот.

– Ой! – сказала мама. – Какая она... некрасивая.

– Да уж, тут природа не расстаралась! – Бабушка провела холёной ладонью по волосам, поправляя причёску.

В молодости бабушка была красавицей – она взяла от отца Омана и мамы Сони всё самое лучшее. Бабушка всегда знала, что и где брать. Ей уже шёл седьмой десяток, а она собиралась в очередной раз выйти замуж. По-моему, в четвёртый. Впрочем, не уверен. Я не очень следил за её браками.

– Это единственная носуха в городе! – обиделся я. – А может, и в Средней Азии!

– Где они вообще-то живут? – спросила мама.

– В Южной Америке. И ещё в Центральной.

В ту пору я был фанатом знаменитого английского писателя-зоолога Даррелла. Этот подвижник создал зверинец в своём поместье на английском острове Джерси, а я вслед за ним – на балконе. И пополнялась моя коллекция регулярно. Моим энтузиазмом широко пользовались звероторговцы, которым нужно было где-то передержать животное, пока они подыскивали покупателя. Торговцы давали мне деньги на корм, а я получал возможность понаблюдать за очередным редким зверем. И всем было хорошо. То есть, всем, кроме мамы, которая неожиданно стала жить в зоопарке. Но мама терпела, потому что была Мамой с большой буквы! В результате через мой балкон прошли такие редкости, которых даже нашем в зоопарке никогда не видели. Это грело моё самолюбие, делало меня в собственных глазах, если не Дарреллом, то, по крайней мере, Бианки. Тоже, кстати, хороший писатель.

Ещё накануне я соорудил клетку из деревянных брусков и легкой решётки, принесённых из зоопарка. На посыпанном опилками полу стояли плошки с водой и тыквенной кашей. Тыквенную кашу в ту пору мама варила часто. Мама утверждала, что тыкву можно есть даже сырой, как яблоки. И ела. Всего два года назад рухнул Советский союз, и вместе с ним – привычная жизнь. С продуктами было трудно. Поэтому вместо яблок мы ели тыкву, вместо кофе пили цикорий, а когда-то прекрасный белый и чёрный хлеб в магазине, будто смешавшись, превратился в серый, из тяжёлой, липкой казахской муки. Из него было хорошо лепить скульптуры.

И вот в такие времена бабушка умудрилась устроиться на частную фабрику, где делали конфеты «Птичье молоко». Она приносила их килограммами. Поэтому у нас в холодильнике не было ничего, кроме тыквы и шоколадных конфет.

– Да вы только посмотрите, какие цвета! – настаивал я. – Как светло-песочный на голове, переходит в почти чёрный на лапах! А потом дробится на хвосте, разделяясь на бежевые и коричневые полосы! Замечаете, сколько в этом вкуса? А как белые брови и щёчки выделяют глаза? С каким талантом это сделано! Не у всякого художника так получилось бы!

Мама с бабушкой снова уставились на зверя. Мама любила живопись, коллекционировала альбомы великих художников. Даже сама пробовала рисовать. Бабушка была членом коммунистической партии, в советские времена работала на руководящих постах и на искусство смотрела с политической точки зрения.

– Что ты всё «бежевый», «бежевый»... Иностранщина!

Носуха подошла к бабушке, обнюхала её тапки. Подняла голову и, загнув хоботок кверху, осмотрела всё, что находилось выше ступней. Глаза носухи ничего не выражали. Такое же вечное выражение безразличия я отметил у медведей. В их глазах никогда не отражается настроение. Другие животные: собаки, кошки, птицы, всегда дают знать о своих намерениях, посылают в мир сигналы писком, рычанием, прижатием ушей... А медведи – ничего. Просто берут и нападают. Носуха оказалось такой же. И почему её отнесли к енотам?

Она зевнула, показав блестящие от слюны, плоские клыки. Отвернулась от бабушки и отправилась изучать балкон. Нас с мамой она будто не заметила. Видимо, сразу поняла разницу в масштабе личностей.

– Коричневая чума! – заключила бабушка. – Вот она кто! ПомЯните моё слово!

«Коричневой чумой» раньше называли фашистов. Бабушка знала, о чём говорила. Она родилась в двадцать девятом году. Её отца, а моего прадеда, туркмена Омана убили на фронте. Её отчим, Леонид Петрович, вернулся с фронта с тяжёлым ранением и вскоре умер. Бабушка и её мать, то есть, моя прабабушка Соня, во время войны голодали. Чтобы заработать на еду, прабабушка делала пирожные, а моя бабушка, в ту пору нескладный, длинный подросток, надевала лучшее белое кружевное платье, красиво укладывала пирожные на расписной поднос и шла на Алайский рынок. Голодная, худая, она ходила целый день в толпе, предлагая пирожные, а потом на вырученные деньги покупала чёрный хлеб. И ни одного пирожного до самой победы бабушка даже не попробовала. Зато теперь ела много сладкого и, подозреваю, на кондитерскую фабрику устроилась под влиянием воспоминаний о голодных годах.

Тут бабушка заторопилась домой, а затем на фабрику. Ещё недавно она жила с нами в нашей «двушке» – бабушка сдала свою шикарную трёхкомнатную квартиру внаём и переехала к нам. Не то, чтобы у бабушки было плохо с деньгами, просто она никогда не упускала возможности подзаработать.

– Ты же не против? – грозно спросила она маму, объявив о своём решении.

И мама, моя золотая мама, не смогла возразить. Хотя, подозреваю, что в душе была против.

Но примерно месяц назад мой черноголовый полоз повадился сдвигать крышку террариума и ползать по квартире. Бабушка всерьёз опасалась, что полоз заползёт к ней в ухо. Подобные мысли плохо взялось с двумя высшими образованиями, и я стал подозревать, что подруга не только поступала за бабушку в институты, но и училась все десять лет. Я пытался объяснить, что в ухо полоз не пролезет, даже если ему взбредёт в голову такая странная идея. Но бабушка осталась при своём мнении. Она вернулась к себе, и её жильцам пришлось съехать. Зато мы вздохнули свободнее.

Я посмотрел, как носуха ест тыкву (она ела, задрав хоботок и морщась) и запер клетку. Утром снова наспех покормил её и отправился на работу в зоопарк, в Отдел копытных.

Оранжевая-палевая лошадь Пржевальского, тёмно-каштановый зубр, красно-бурый бухарский олень, седые ламы – как я любил разбирать их сложные цвета! Краски будто на палитре перетекали с одного животного на другое, каждый раз в новых сочетаниях и пропорциях, каждый раз образуя иной, неповторимый окрас. Удивительно, но в мире нет двух одинаковых существ, даже если они принадлежат к одному виду. Если посадить рядом двух тараканов с одной кухни – они всё равно будут отличаться: усами, надкрыльями или чем-нибудь ещё. Природа слишком талантлива, чтобы быть однообразной! Но бежевых зверей в зоопарке не было. Я безуспешно пытался найти бежевый цвет в окраске лам, верблюдов и оленей. В тесных клетках зверь, даже если изначально был бежевым, быстро становился бурым или серым. А цвет беж, настоящий цвет солнечной Беатики был только у меня, на моём балконе.

Работа в копытном отделе тяжёлая: нужно таскать мешки с отрубями и овощами, возить полные тачки навоза. Да ещё при этом не попасть под удар злобного чёрного зубра, который то и дело пытается припечатать тебя широким лбом к рельсам, из которых сварен загон. Лошади лягались, ламы плевались. А верблюд один раз ухватил меня за плечо, поднял в воздух вместе с мешком отрубей и швырнул метра на три в сторону... Когда я вскочил и испуганно обернулся, он уже пережёвывал солому, лениво поглядывая на посетителей.

Дома я увидел, что носуха гуляет по балкону. Причём ей показалось недостаточным просто проделать лаз – она разобрала клетку по деталям: в одной куче лежали бруски, в другой – погнутые листы металлической сетки, там и сям валялись выкрученные шурупы. Видимо, носуха занималась этим весь день – когтями вывинчивала шурупы, зубами перекусывала проволоку. Опилки она разметала по всему балкону, а плоски, уж не знаю почему, использовала в качестве ночных горшков. В этом было что-то кошачье.

Обычно тихие, днём похожие на древесные сучки, сплюшки крутили желтоглазыми головами, пытаясь из верхней клетки разглядеть, что делает носуха. Игольчатые мыши забились в домик. Они понимали: в случае чего, фальшивые иголки их не спасут. Сизоворонки тревожно скрипели. Ручная сорока скакала по клетке, стуча по полу

суставом когда-то сломанной и неправильно сросшейся ноги. Черноголовый полоз в террариуме без конца ползал по кругу, корелла в гостинной истерически свистел «Мост через реку Квай», перевирая мелодию до неузнаваемости и бил крыльями, словно пытался взлететь вместе с клеткой. Даже до скорпиона, видимо, долетели какие-то флюиды общего страха. Он воинственно поднимал и опускал хвост, похожий на ряд нанизанных на нитку янтарей. Жабы-аги зарылись в мох, оставив на поверхности только глаза. Лишь сбегавший хомяк по-прежнему никак себя не проявлял. И как показало будущее, правильно делал.

Я убрал грязные опилки, вымыл площадки и снова собрал клетку. При этом я вдвое увеличил количество шурупов. Носуха посмотрела на клетку, потом на меня, будто спрашивала: «Думаешь, я с этим не справлюсь?» Как бы в усмешке она задрала хоботок кверху, подошла и положила мне на колено лапу с когтями-отвёртками, словно предупреждая. Хотя, наверное, я просто переутомился на работе, и мне мерещилось непонятно что. Я посмотрел носухе в глаза. Они по-прежнему ничего не выражали – две коричневые стеклянные пуговицы. О чём она думала? Мне показалось, что в её голове-чайнике бурлят мысли цвета крепкого чая.

«Коричневая чума!» – вспомнил я.

Мне захотелось доказать, что это всё клевета, что носуха – мирный и очень красивый зверь. А всякие «бомбоубежища» и прочее тут совершенно ни при чём.

Я положил в плошку кашу с тыквой и добавил принесённого из зоопарка мяса. В то время все служители были так называемыми «несунами» – носили домой продукты из зоопарка. Иначе было не прожить.

Потом я взял альбом и пристроился у клетки. Недавно я пристрастился к рисованию сухой пастелью. Мне подходила эта экономная, но очень живописная техника. С акварелью получалось не так хорошо – не хватало аккуратности. Рисуя пастелью, я покрывал часть рисунка штрихами, а потом растирал их пальцами, объединяя, смешивая разные фрагменты картины. За рисованием я мог просидеть несколько часов.

В наборе пастели не нашлось подходящего мелка. Пришлось составлять бежевый из других цветов: в ход пошли, серый, охра, белый, желтый, коричневый...

– Монэ!

Я обернулся. Надо мной наклонилась мама, с интересом глядя на рисунок.

– Дега! Импрессионизм!

Это было любимое мамино направление в живописи. Любимый художник – Ван Гог. Любимая картина, конечно, «Подсолнухи».

– Погоди, сейчас будет реализм: Репин и Крамской с Рембрандтом.

Я принялся яростно растирать пальцем штрихи – носуха на рисунке стала приближаться к оригиналу, приобретая бежевый цвет. Правда, он был ярче, чем в жизни, будто её освещало солнце. Возможно, мне просто хотелось видеть её такой.

– Где же тут Репин? Тем более Рембрандт? Скорее, Коровин!

Я не стал спорить. Коровин, так Коровин. Тоже хороший художник.

Я перевёл взгляд с рисунка на натуру. Носуха доела кашу, рыгнула и свернулась на чистых опилках, как кошка. Но уютного кошачьего впечатления не производила. Мне снова почудилось в ней что-то крысиное.

Я унёс альбом, убрал в других клетках, покормил животных и выключил на балконе свет.

На другой день к вечеру клетка снова была разобрана. Хуже того, носуха явно пыталась взломать клетку с ручной сорокой: та истерически орала и молотила по железным прутьям заметно истрепавшимися крыльями.

Но я тоже не терял зря времени и добыл в Птичьем отделе разборную вольеру с алюминиевым каркасом. Когда она заняла место старой клетки, носуха зашла внутрь и оглянулась на меня, задрав хоботок. И снова мне показалась в этом движении усмешка. Носуха будто говорила: «Новая клетка? Ну-ну!»

Бабушка совсем перестала к нам ходить – ей не нравилось, как носуха выглядит, как непочтительно себя ведёт, и главное, как пахнет. Носуха действительно много ела и много гадила. Убирать за ней я мог только вечером, поэтому неприятные «ароматы» проникали в квартиру. Оставлять окна открытыми я боялся. Нет, я не думал, что носуха упадёт с пятого этажа – эти звери прекрасные древолазы. Но если бы она перебралась на балкон к соседке, где та хранила соленья-варенья, был бы скандал, и носуху пришлось бы выселить.

Зато теперь бабушка звонила каждый вечер, чтобы узнать последние новости:

– Ну, как там наша коричневая чума?

Я обижался и уже чуть не кричал:

– Бежевая! Сколько раз повторять!

В конце концов, бабушка перестала упоминать цвет:

– Ну, как там наша чума?

А новости приобретали всё более мрачный характер.

На другой день носуха вылезла из новой клетки, смяв алюминиевый каркас, взломала дверь балкона и в гостиной съела черепаху Шурика.

Это было любимое мамино животное. Шурик, среднеазиатская черепаха, жил у нас давно. Мама сама покупала ему на рынке зелень и каждую неделю протирала его панцирь от пыли, которую тот собирал под диваном. Теперь это было всё, что от него осталось – пустой панцирь с дырками для головы, хвоста и ног. Он стал похож на пустой дом, из которого ушёл хозяин.

Мама очень расстроилась. Увидев опустевшее жилище, она взяла панцирь в руки и сказала совсем шекспировскую фразу:

– Бедный Шурик! – Потом посмотрел на меня. – Может, вернёшь носуху?

Я пожал плечами. Я ещё не успел за ней как следует понаблюдать и порисовать. Где я потом добуду такого зверя?

– Конечно, наша бабушка часто перегибает палку, – сказала мама, – но насчёт носухи она, кажется, права!

– Так сразу вернуть не получится. Её хозяин должен сначала найти человека, который её возьмёт. А на это не всякий согласится...

– Да уж!

Мама положила осиротевший панцирь на телевизор.

– Но я бы на твоём месте не затягивала.

Конечно, она была права! Но сейчас-то куда девать носуху? Не выгонять же из дома!

Я кое-как привёл в порядок погнутую вольеру, поверх сетки-рабицы укрепил решётку от старой клетки и дополнительно связал всё толстой проволокой. Носуха следила за мной равнодушным взглядом, но её хоботок то и дело весело загибался кверху.

Предчувствия у меня были прямо-таки гамлетовскими. Я не очень хорошо помнил эту пьесу, но знал, что в конце все главные герои умирают.

На другой день, возвратившись с работы, я сразу побежал на балкон и оцепенел. Пол был усыпан чёрно-белыми перьями вперемешку с коричневыми. По углам валялись обломки клеток, где ещё утром сидели сокол-чеглок и сорока. Я в ужасе огляделся. Если от Шурика остался хотя бы панцирь, то от птиц – ничего, кроме невесомого пуха.

Бить животных – последнее дело. Но я не выдержал, схватил веник и несколько раз огрел носуху. Взвизгнув, та убежала под стол с коллекциями птичьих яиц и сушёных насекомых.

Особенно жалко было сокола. Я тренировал его едва ли не каждый вечер, чтобы сделать ловчей птицей. Когда я выпускал его из клетки, он сам садился мне на руку и уже почти не слетал с неё без команды. Да и сороку я любил не меньше. Её знали многие жильцы дома – раньше она жила свободно и повадилась навещать чужие кухни. Но вела себя прилично – садилась на подоконники и смотрела, как хозяйки готовят. А уж если они захотят чем-нибудь угостить – это их дело. Сорока сразу поняла, что так делать выгоднее, чем воровать. В результате она настолько растолстела, что ей стало трудно летать, и я решил подержать её в клетке на строгой диете.

И вот, теперь от неё осталась кучка перьев, похожих на лепестки чёрно-белых цветов.

Я снова вспомнил предупреждение бабушки. Но звать носуху «коричневая чума» всё-таки неверно. Скорее уж «бежевая смерть»! В голове мелькнула мысль, что это подходящее название для трагедии.

Я снова занялся клеткой, хотя понимал, что до завтрашнего вечера она, наверняка, не доживёт. И надо было что-то придумать с уцелевшими животными. Я перенёс клетки и аквариумы в спальню. На балконе остались только совы и сизоворонки – их вольера была под потолком, куда не забраться даже «бежевой смерти». Да ещё на столе осталась коробка со скорпионом. Это вовсе не было попыткой мести носухе. Скорпиона мама откровенно не любила, и ночевать рядом с ним никогда бы не согласилась. Да и носуха не проявляла к нему интереса. Видимо, она всё-таки была неглупой, хотя тщательно скрывала это за своими медвежьими глазами.

Ночь прошла спокойно. Утром я покормил носуху, тщательно запер дверь балкона и вдобавок прижал креслом, вызвав негодование дремавшего под ним сычика.

Весь день меня одолевали тяжёлые мысли.

Вечером, не дойдя до подъезда, я увидел на углу дома группу знакомых мальчишек. Они что-то разглядывали под крышей пятиэтажки.

– Чего вы тут собрались?

– А вон! Это разве не твой балкон?

Я посмотрел в указанном направлении и с оторопью увидел в нашем самом верхнем балконе дыру, откуда высовывалось что-то вроде бежевого чайника. Вот «чайник» скрылся, и вместо него появилась медвежья лапа, которая стала расширять дыру мощными движениями. Вниз посыпались бетонная крошка.

Я бросился в квартиру.

На балконе гулял сквозняк. На полу в осколках стекла валялся ящик, где раньше хранилась коллекция бабочек: остатки их крыльев порхали по балкону, как облетевшие лепестки. Вокруг лежали похожие на белых бабочек пласты содранной со стен штукатурки вперемешку с опилками. Лишь коробка со скорпионом оставалась невредимой.

Носуха обернула ко мне серую от цементной пыли морду, равнодушно взглянула на меня и вернулась к расширению дыры.

Я выглянул в окно. Перед домом уже собралась толпа. Люди показывали руками на наш балкон и что-то жарко обсуждали. Скорее всего, пытались угадать породу необычного зверя.

Я вернулся в комнату и позвонил хозяину носухи.

Ему очень не хотелось её забирать. Он говорил, что занят, что пока не нашёл того, кто согласится взять носуху, и много чего ещё. Но когда я перечислил совершённое носухой за последние три дня, он сказал, что будет через полчаса. По нашему договору хозяин должен был возместить все понесённые от носухи убытки. А кто знает, что она учинит завтра?

Я вернулся на балкон, загнал носуху в переноску, закрыл крышку и сел рядом, не спуская с ящика глаз. Впрочем, носуха не пыталась вырваться: свернулась бежевым колесом, спрятала «носик» «чайника» между лап и заснула.

Когда я пришёл с переноской к остановке, хозяин уже ждал меня. Я предложил ему посмотреть балкон, но тот отговорился тем, что торопится. Он отсчитал мне довольно крупную сумму, потряс руку и уехал.

Дома я увидел бабушку. Она осматривала балкон.

— Сталинград! – сказала она. – Просто Сталинград! А я предупреждала: фашист есть фашист! Хоть он на двух ногах, хоть на четырёх!

Я хмуро промолчал. Нет смысла спорить с тем, кто чуть не стал министром.

Бабушка прошла на кухню и выложила из сумки огромный пакет свежего «птичьего молока». Но мама спрятала его в холодильник, достав конфеты из старых запасов.

Мы пили чай и смотрели на сделанную мамой икебану: мама покрыла панцирь Шурика лаком и как цветами украсила шоколадными маховыми перьями сокола и чёрными, отливающими зеленью, хвостовыми перьями сороки. Это было явный укор мне.

Вдруг мама сказала:

– Давай-ка дома больше никаких животных. Ещё одной такой истории я не выдержу. Кого можно выпустить, остальных раздай. Ты уже взрослый человек. Думаю, общения с животными в зоопарке, тебе вполне хватит.

Бабушка кивнула.

– Превратили квартиру в гадюшник! Мне даже гостей к вам стыдно звать! – То, что это гости её, а не наши, и мы не всех из них любим, бабушку не смущало. – Кстати, мы с Анатолием Палычем на будущей неделе едем на дачу, можешь там всех и выпустить.

Анатолий Палыч был очередным мужем бабушки. Занятый носухой я даже не заметил, когда они успели расписаться.

На том и закончился мой домашний зоопарк. Но не закончилась история носухи. Через месяц я узнал её продолжение.

Новости между любителями животных в Ташкенте расходились быстро: скоро все уже знали, что носуха учинила в нашей квартире, и никто не хотел брать её. Пришлось хозяину отвезти носуху в далёкий кишлак. Её поселили в сарае на задворках, и там носуха неожиданно остепенилась: только ела и спала, зарывшись в солому.

Но через две недели владельцы дома обратили внимание, что носуха быстро толстеет. Примерно в это же время в соседском доме стали пропадать куры. Причём пропадали они из закрытого снаружи курятника. Носуха тоже была заперта снаружи и оставалась вне подозрений. Через месяц куры исчезли до одной, зато носуха сделалась почти круглой. Её хозяин в очередной приезд в кишлак заподозрил неладное и поспешил забрать зверя.

Владельцы сарая, приводя его в порядок после носухи, обнаружили скрытый под соломой тоннель: он тянулся на добрых пятьдесят метров и вёл напрямик в соседский курятник. Понесшие убытки соседи пытались найти хозяина носухи, но тот уехал за границу и больше в Узбекистане не появлялся.

Что стало с носухой, не знаю. А её портрет ещё долго хранился у меня. Он оказался настолько удачным, что когда у меня случилась первая и пока единственная персональная выставка: я повесил его на самом видном месте, назвав «Бежевая смерть». Но организаторы выставки сказали, что это довольно пошрое название, и что оно больше подходит дешёвому детективу. Тогда я подписал рисунок просто: «Носуха».

Юлия Говорова

Когда-то давно я жила в своей любимой деревне в Псковской области. Как мне нравится повторять и повторять эту прекрасную фразу, что я жила когда-то в своей любимой деревне в Псковской области.

Я вспоминаю дороги и холмы. Когда ты шел, шел, просто шел, а внизу речка. Я вспоминаю стук дятла весной. Потом аистов, а они известные барабанщики! А еще голову весной поднимешь – летят гуси. А потом еще раз поднимешь – журавли...

Я работала в то время в таком местном деревенском зоопарке небольшом. Для попавших в беду или в какую-нибудь еще передрагу зверей, птиц. Для малышей, оставшихся по каким-то причинам без родителей. Для животных и птиц отказников.

И у нас там было много. Был енот Ракета – после всем известного фильма. Сурикаты (это после «Короля льва»).

Были и попугаи-отказники (а уж с ними мультфильмов и фильмов вообще множество). Не припоминаю фильма с альпакой, но у нас был альпака. И он в нас без зазрения совести плевался.

Вот я чищу, допустим, ему его прекрасные и опушенные ножки, как у пуделя, проверяю миниатюрные копытца, расчесываю ему его колтуны на длинной шерсти, выстригаю налипшие какашки (напоминают черный перец горошком).

Ну а он или плюнет мне в лицо или, если я чищу его сзади, голову ко мне повернет «так, так, так, я не вижу сейчас, ты где?» и, сложив губы, бантиком плюется.

И для него всегда было важно плюнуть именно какому-нибудь человеку в лицо, а не в пространство.

Была у нас и обезьянка-верветка. Были лебеди. У черного лебедя красный клюв, сигнальный. Когда вечером ты мимо уличных вольеров идешь, он промелькнет.

У лебедя-кликун клюв лимонный (мой любимый!). Вот любовь у меня к кликунам невероятная! И именно за лимонный этот клюв, так искрящийся на сверкающем снегу, отражающийся под мерцающей луной и сливающийся с желтым ворохом из листьев.

И патагонские зайцы у нас были. По-другому они зовутся – мары. Это зайцы с такими длинными усами и так приятно щекочущими щеку, когда зайца на руки берешь.

Был Уголек – это вьетнамская черная свинья. Глаза Уголька были спрятаны под кустистыми бровями, щетина его напоминала плавник. Когда зимою гулял, горячее дыхание из него вырывалось, как из топки.

Снег падал на него, как на не остывшие угли, а не защищенный мехом бок смотрелся, как бочок у испекшейся картошки.

Свинные девчонки, и тоже все, разумеется, черные, то есть они были той же породы, тоже были в теле. Они переваливались во время прогулок с боку на бок. По дорожкам зоопарка бродили надменные гранд-дамы на подворачивающихся из-за тяжести ножек-каблуках.

Августина, была еще носуха у нас. Весною она буравила носом в снегу дырки, она докапывалась до самой земли и проверяла: не началось ли весеннее пробуждение, оттаивание? не участилось ли у земли к весне дыхание?

Сосредоточенные стояли у нас по своим вольерам цапли. У дикобразов светились иголки в темноте.

И еще нам часто приносили ежат с несформировавшимися еще и поэтому белыми иголками, податливыми под щупающим пальцем. И мы выкармливали ежат из шприца, из поршня шприца.

Со шприца во время выкармливания снималась не нужная иголочка. А иногда вместо соски была у нас пипетка.

Была у нас в зоопарке волчица, звали Ирма. А у Ирмы в подругах овчарка наша – Спарта. И я называла их игры ну какой-то дуэлью челюстей, когда Ирма, молодой и неопытный волчонок, атаковала терпеливую опытную Спарту, а овчарка умело отбивалась.

Волчица обожала овчарку и на прогулках искала всегда Спарту. Волчица дурачилась всегда очень часто перед Спартой.

Только в играх можно было увидеть такого дурашливого волка, переполненного вдохновением игры, с этим клацаньем обнаженных челюстей. Но никогда эта их такая игра не подступала к партнеру близко к горлу!

Наоборот, овчарка всегда была первой готова учуять опасность, защитить, пока Ирма, безмятежный тогда еще волчонок-подросток, веселилась.

И овчарка меня всегда выручала на прогулках, когда Ирма, а я ее иногда отпускала с поводка, и она от меня по оврагам вмиг умчится. А куда, я не вижу, не пойму. И только Спарта она всегда Ирму чувствовала, знала.

Овчарка оставалась со мной. Ну и я была спокойна. «Спарта, а Ирма уже скоро придет?» И уши овчарки, почувствовав приближение любимой волчицы, шевелились.

Ирма признательно целовала всегда Спарту. Спарта приподнимала немножечко свою верхнюю губу, но не брезгливо, а так как у псовых это принято, и Ирмушка целовала ее в десны.

И еще с нами жил ротвейлер Джерик. Ни на кого он никогда из каких-то там случайных прохожих не кидался, никого он из незнакомых ему собак никогда на прогулках не кусал.

Но у него была одна страсть, для такой крупногабаритной собаки удивительная: он нежно и он просто до самозабвения любил белок. Белки скидывали на него шелуху от черных семечек. Они скидывали на него всю скорлупу от орехов. Он был счастлив! И отвлечь от этого беличьего вольера его было ни за какие коврижки невозможно.

Вспоминаю и вспоминаю зоопарк! Ну а как не вспоминать! Как еноты перебирали листву. Как цапли в воду ноги опускали весной, проверяя температуру воды (нога как градусник).

Я вспоминаю: фазан золотой – Аменхотеп, оперение, как у древнеегипетского воина. И пятнышко румян на щеке. И эта поднятая удивленно, а чаще всего просто надменно, бровь фазана.

Собираешь бруснику и чернику – ладонь окрасится в цвет пера фазана. Натирешь морковь и тот же след – фазан.

Потом павлины, павлины и павлины! И павлинами все восхищены. А ты все ходишь за ними, убираешь. Отдвигаешь в стороночку хвост, потому что мешает убирать.

Павлин и летящий снег, павлин и дождь. Павлин идет и подметает хвостом опавшие соцветия вишен. Да, все было.

И у нас там были, конечно, попугаи. Летом они жили в вольерах. И до осени. Попугаи ожереловые. И розеллы. И кореллы. Мы их выносили весной, а забирали обратно поздней осенью.

Когда птицы уже акклиматизированы, когда они не изнежены теплом, то все у них будет нормально, все не страшно.

И им не страшны даже утренние заморозки. Когда заискрится на деревянном полу в вольере иней.

Но ведь зато потом утром выйдет солнце! И ты сможешь подставить себя солнцу. После зимних и все-таки замкнутых помещений это важно.

А потом уже начинались одуванчики. Летом я приносила в уличные вольеры попугаям верхушки от полевых трав. Осенью обязательно гроздь рябины черноплодки.

Голоса попугаев, уже достаточно привычно и комфортно, звучали в перипетиях и склоках местных птиц.

А потом пришлось вернуться в Москву. И здесь в Москве у меня уже появились свои, свои личные домашние попугаи, без зоопарка.

У меня попугаи – благородные. И как мне нравится повторять и говорить всем об этом – благородные!

И когда я говорю всем об этом: «Благородные!!!», то все думают, что это я их заранее нахваливаю. Что это, мол, такая вот черта характера, благородная конечно черта. Да ни черта!

Благородные – это всего лишь красивое название. Попугай благородный, или эклектус, как еще он зовется на латыни.

И уж я с ними хлебнула благородства! Не каждому из попугаев везет получить от рождения такую вот индульгенцию на подвиги. Когда ты и слова им даже поперек, ну или там в упрек, не скажи – им, благородным. Они тебе намекнут о твоём (и простом!) происхождении.

К тому же это единственный вид попугаев, у которых мальчики существенно отличаются от девочек. У попугаев ведь с определением пола все непросто.

У волнистиков это можно понять по восковице. А у остальных попугаев, включая крупных (жако и какаду) дело может дойти до орнитолога.

А у благородных с определением пола очень просто. Мальчик – зеленый, с небольшими вкраплениями синего и красного, девочка – красная, чуть с синим. У меня живут Лексус и Таисия.

Глаза у Таисии в такой синей красивой окаемке. И она на меня часто смотрит, глаз не сводит. Или же зажмурит глаза и ко мне прижимается щекой. Ох, как она ко мне прижимается щекой! Она прижмется и от наслаждения, волнения покраснеет.

Хотя мне сложно понять, когда у меня Тая краснеет, не краснеет, потому что не голова у нее, а какой-то маков цвет.

И она вся у меня полыхает от румянца, как барышня, которая заливается краской от смущения. И есть еще немножечко в ее этом окрасе балагана, когда Петрушке на ярмарке натирают свеклой щеки.

И таким образом, у меня Тая полна противоречий. Одна щека у нее это нежная ланита, которую все время воспевают поэты, и у поэтов ланиты эти «рдеют», а другая – вся разгоряченная ее, как правило, все разрушающей деятельностью, пышет.

Вот, например, у меня Тая недавно разгрызла утеплитель. На дверце холодильника утеплитель.

Она добралась до самой сочной (и вкусной?) прослойки пенопласта (тот самый случай, когда все не съем, но понадкусываю). И было видно, как она вгрызалась в пластмассу, смаковала. И как выплевывала потом все изгрызенное на пол.

«А почему у вас такой изжеванный холодильник?» – спросил мастер (пришлось вызвать). «Это Тая, Тая!» – я пыталась мастеру объяснить.

Но он не понял. И почему-то решил, что это я. Как уважающая себя юная и порядочная девушка, дескать, сижу на суровой диете и по ночам с горя сгрызла холодильник.

А хотя разгадка проста: не попугай у меня дома живет, а Терминатор.

Потому что еще одно любимейшее увлечение Таечки – проводка. Как щипчиками, она провода перегрызет.

Ты говоришь по телефону, болтаешь – обрыв связи. «Опять у тебя Тая на проводе?» – работники МГТС уже знают. И много раз я была уже ею оторвана от мира.

Она перегрызала мне и телефонный и выделенный интернет кабель, юэсби. И порт для флешки. И все эти провода для наушников (о, сколько у меня перекушено их было!). И все мыши (проводные или беспроводные, все равно).

И если в боевиках все время напряженный момент, когда герой не понимает, не знает, где ТОТ провод, к которому присоединена сейчас взрывчатка, то Таечка моя перегрызет все спокойно, она знает все.

Я отдаю ей ненужные бумаги. И она тоже их во рту разжует, как разведчик полученную шифровку из центра, потом сплюнет.

Она из книг у меня выгрызает все время корешки. Она доберется до домотканой и с ниточками, со слоем старого канцелярского клея книжной корки.

Она изгрызла мне всю деревянную форточку на кухне. Клюв погружается у нее очень нежно и плавно в древесину, как в заготовку, когда из дерева вырезается ложка, ложкорез.

Еще мне Тая постоянно обтесывает ветки. Я приношу ей из парка много веток, и она их заостряет все время, будто клинья. И, может быть, у меня Тая бобер? А дом – крепость, оцетинившаяся деревянными клиньями забора.

Она мне перегрызла сифон – водопроводный и гибкий шланг под раковиной (наверное, хотела запруду, если продолжать дальше линию бобра).

Она мне искромсала весь плинтус по всей кухне. Она мне раскрошила подносы из соломки. Она разорвала все прихватки (попались Тае под горячую лапу!).

Она распотрошила мне веник. Много веников. Вот почему-то она не любит веник. Увидит и сразу начинает с ним драться.

И я уже накупила столько веников, что в хозяйственном магазине считают, что я какая-то грязнуля Федора, капитально погрязшая в грязи. Но, к счастью, вставшая на путь исправления и теперь бесконечно все метущая.

Таисия изжевала мне коврик сейчас в прихожей. «Добро пожаловать!» – теперь этой уже достаточно опрометчивой надписи у меня на коврике у входной двери по решению Таи больше нет.

Я недавно купила новый чайник, так Таисия мне распотрошила гарантию. Хотя какая гарантия, когда у тебя рядом, под боком попугай.

Вы спросите: а почему я не закрываю ее, почему она не в клетке? Нет, конечно, она у меня в клетке ночует (ну а как?!). Правда, днем она предпочитает свободу. Как все мы.

И она ведь не только разрушает. Она ведь все-таки любит меня. Ну а я люблю ее. «Моя благородная разбойница! – так я ласково ее называю. – Красна девица! (это за окрас оперения)»

У Таисии исследовательский ум! У нее характер исследователя. Как в заставке из моего любимого киножурнала из детства:

Орешек знаний тверд, но все же

Мы не привыкли отступать!

Нам расколоть его поможет

Киножурнал «Хочу все знать!»

И вот Таечка она у меня здесь орешек знаний. Она и грецкие орехи раскалывает и грызет гранит науки. Ну и другие сопутствующие этому граниту науки материалы.

А Лексус (а это мой второй благородный) это скинутая клювом посуда. Как во время спиритического сеанса, он сдвигает тарелки со стола. Он пододвинет понравившуюся тарелку до края, потом скинет. И смотрит, как тарелка забьется в припадке на полу.

Он раскидывает мне ложки. Да и вилки. Он раскидывает мне даже ножи. Он выступает как метатель ножей.

А я, видимо, вот та самая девушка, красотка, которая замирает перед любимым факиром возле стенки, а он, пуляя в эту стенку ножами, обозначает красивый силуэт.

И еще Лексушка обожает стучать клювом. Он по столешнице клювом колотит энергично: дыщ-дыщ-дыщ! И клюв у него такой оранжево-красный и с горбинкой. У поспевающих перцев болгарских такой цвет.

Я выкормила его со «щенка», то есть со птенца, и Лексуса охватила теперь благородная и благодарная страсть меня подкармливать.

Он прилетает ко мне и садится (а он увесистый парень!) на плечо и делает такие слюнособирательные движения.

Он подталкивает у себя в клюве поближе на выход кукурузу, молодые и от сока полопавшиеся зерна. Кукуруза вся обмусоленная Лексой. И он пытается меня ею накормить.

Я выплевываю, и он тогда возмущенно стучит клювом. Не понимает, как можно от кукурузы (и тем более в свежайшем початке!) отказаться.

Он держит ложечку в клюве и стучит потом ею по стакану, как лектор, требующий очередную минуточку внимания.

Он скидывает мне крышки с кастрюль. И он обожает проверить: а насколько в кастрюле подслащено, посолено? И не забыли ли чеснок положить? А красный перец?

Он измельчает мне и нарезает морковку. Очень ловко! Он замечательный миксер-автомат.

Он кофемолка (если Таисия перегрызет кофемолку). И он, конечно же, соковыжималка (сок вытекает из надкусанной дольки апельсина). Ну а дальше, я думаю, что вы уже добавите сами (он очень любит и черноплодку рябину и гранат...)

И попугаи у меня разговаривают. А как же! Их научил говорить сейчас мой волнистик. Зовут Петр. Он достался мне от его говорящих родителей с Авито. О том, что он *вообще* говорит, в объявлении было особенно подчеркнuto.

Крупными буквами там был перечислен словарный запас его семьи. Всех этих Петиных тетушек, дедушек, прабабок. Не скажу, чтоб это был прям словарь Ожегова, но на двух моих тетрадных листочках поместилось.

Достаточно стандартный набор: «Петя, Петя, скажи, что ты хороший!» «Петя, Петя, скажи, что ты красивый!» «Петя мальчик! (а у меня Петя – мальчик)» И, типа, выйди, там, подай, принеси... И все такое.

И мне предстояло перед ним этот список весь озвучить. И то ли этому поспособствовала моя врожденная артистичность и настойчивость, то ли у Пети действительно были очень талантливые гены, но он у меня под конец заговорил.

Ну и теперь он вообще не умолкает. Он тарыхтит, как стационарная радиоточка – в Зазеркалье. У него клетка она вся увешанная зеркальцами. И он беседует с десятками своих отражений, с ними спорит. У Пети не раздвоение, а удесятерение личности какое-то.

Он выгораживает своих благородных приятелей-разбойников и постоянно у меня над ухом талдычит: чик-чирик...

И он меня всегда утешает и поддерживает, если Тая оборвет занавески. Или если она отгрызет на рубашке мне все пуговицы.

А Тая любит разгрызть и пощелкать мои пуговицы. Она долго мусолит в клюве пуговицу, как мы в детстве кончик от шариковой ручки когда-то.

Так что из Пети у меня вырос Нарцисс (при его любви к зеркалам и способностям по ораторским искусствам). Лексуса можно спокойно отдать на стажировку там – су-шефом.

Ну а Таю при всей ее любви к столярным станкам и заготовкам, ко всем этим киянкам и рубанкам, я бы сосватала на уроки труда в школу.

Но я не откажусь ни от кого никогда! Нет, никогда! И пусть разгрызенные листочки летят сейчас повсюду.

И из недавно разгрызенной Таей книги каких-то там китайских гаданий промелькнет, что стойкость – и здесь внимание, ребята! – ведет к счастью.

И все равно я очень часто вспоминаю и вспоминаю зоопарк, свою деревню. Уток, приземляющихся на финишной посадке на озеро. И тормозящий путь у уток долог. Они как рубанком проходят всю поверхность воды и обязательно поднимают волны – «стружку».

Трясогузок, перебегающих перед озером дорогу. И иногда кажется, что они эту дорогу сейчас штопают. Они бегают туда и сюда. Иголка с ниткой. Дорожники иногда еще оставляют тут же битум. Но трясогузки-то с их невидимыми стежками поверней!

Я вспоминаю овсянок с желтым пузом, зависающих на кустах ивы у реки. Стук дятла по деревянному шесту для антенны. Гнезда аистов.

Когда я впервые вообще в своей жизни увидела цапель в природе, пошел снег. Это был март. Цапли раскачивались в своих гнездах на верхушках сосен.

Пожгли траву весной еще какие-то дураки, трава вся выжженная. И вот по этой дороге шагал аист. Черные с белым у него были крылья, и я это помню прекрасно, красный клюв...

Я вспоминаю зоопарк и попугаев. У нас были и попугаи-отказники. Это те попугаи, от которых по каким-то причинам отказались. Наполовину они все – отщепенцы. Причем отщепенцы в буквальном смысле слова.

Они страдали все такую болезнью – самоощип. Это болезнь очень часто возникает из-за недостатка внимания, любви. И вот у них у всех образовалась такая дурная привычка – самоощип.

Когда на попугае уже нет ни единого перышка, все выщипано. Попугай поест и видно, как еда опускается по зубу. Как он сглатывает. Нам видно, когда комок у этого попугая встанет в горле.

И киль у этого самообщипанного попугая выпирает (у попугаев грудина это киль). У нас была флотилия из таких вот самообщипанных попугаев. Флот пиратов!

Из тех, кто не смирился с судьбой, но при этом уже все равно, наперекор всем чертям продолжал себя ощипывать. С девизом «ни пуха, ни пера!» они жили. В прямом смысле.

Это было время, наполненное воплями этих отчаянных попугаев. Которые не были паиньками, нюнями. А требовали отчаянно свое. Все то, что им почему-то когда-то не досталось.

Я вспоминаю, как мы выносили клетки утром. И это была, поверьте, вот тоже прекрасная история, когда мы выносили все эти попугайные клетки весной утром. Из опостылевших зимних помещений.

Как мы вытаскивали все эти попугайные клетки из дома и включали в шланге воду. Поливаешь клетки из шланга, поливаешь, а потом не удержишься и шланг себе ко рту поднесешь и воду пьешь.

Когда поддоны вынимались из клеток и выставлялись прочиститься под дождь. Под летний ливень или под душ от водостока. Вода лилась и звенела по поддону.

И разводы какашек отмокали. И чистились все прутья на клетках (а ведь попугаи все любят водить по клетке клювом, они счищают так остатки еды, да и просто так, для развлечения скрежещут).

И все это сейчас под дождем отмокало и оттаивало. И ты менял жердочки на новые. Старые уже было не отмыть, да и новые уже просто хотелось поставить и развесить (и сходить за ними в лес!).

Попугаи, почуяв эти новые жердочки, с наслаждением тянули кору клювом, обнажая этот свежий и белый ствол осины, с зеленоватыми и с такими вот витаминными прожилками.

Так что это была целая история летом (и прекрасная история!) – вытащить клетки из дома и разложить все поддоны из клеток на траве.

Пить из шланга и промывать им расставленные клетки. Свежий корм в намытые кормушки насыпать. Яблочки аккуратненько порезать. Любо дорого на чистые клетки посмотреть!

Укладывая уже своих попугаев на ночь дома, я слышу, что у кого-то проснулся ночной жор. То есть я слышу, как в клетке там у них что-то жуется и как сплевываются семечки.

Как кто-то, и тоже, представьте, на ночь глядя, решил покачаться вдруг на жердочке! А потом со всем этим металлическим треском, перезвоном перебирает своим клювом по клетке.

Ох, как же они скрежещут на ночь! Они водят клювами по железным прутьям клетки, они отбrehиваются от чего-то дневного и откашливаются.

Сейчас приготовила для своей мамы пюре и Лексус тут же! Он стоит сейчас по колено в пюре и по клюв тоже. Пюре с клюва вытирается, конечно, о жердочки, о стенки.

Лексус прокалывает полосатые ягоды крыжовника. Когда мы с ним варим варенье. А он любит варить со мной варенье! Прокалывать ягоды, где надо, чтобы они побыстрее дали сок.

Он прокалывает кухонным комбайном своего умелого клюва абрикосы и выковыривает у них из-под мякоти все косточки.

У арбузов он тоже выклеывает все семечки. Он у арбузов вот любит как раз семечки.

И вы бы видели, как у меня Лексушка иногда готовит борщ! Ну а я только все профессионально нашинкованное им кладу в кастрюлю.

Он переворачивает странички рецептов в кулинарной книге. Или раскачивается на своих любимых деревянных качельках, прям над кухней. И крылатые качели (проволака и деревяшка простая) все летят, летят, летят...

Он ставит диски себе: португальские страдания фадо и «Dire Straits». Он переключает, елозя по радиоприемнику лапами, FM-волны. Мне нравится, например, радио Ретро и Релакс. Ну а он предпочитает, представьте, бизнес новости.

Тая продолжает догрызать несчастный плитус на кухне. Она уже перепробовала все! И все фабричные сорта ДСП и ламината. Она обсасывает мне дужку очков, как мы в детстве, достав из кармана, карамельку.

После работы она обычно подходит к кормушке, вся в опилках. «Выше стропила, плотники!» – ее любимая книга.

Как и справочник по клеям (а есть такой справочник по клеям, авторы Айрапетян и Заика). И для Таечки все эти клеи по дереву как мед. Отдельно она читает инструкцию по выпиливанию лобзиком.

Волнистик Петя продолжает свое путешествие в Зазеркалье. Моя мама ему подарила недавно свою пудреницу, а там внутри тоже зеркала. И Петя напыжился весь, счастлив.

Лексус катается сейчас на зеленоватой стеклянной бутылке на полу. Он любит выкатиться перед гостями на бутылке. Он очень любит 0,7 (объем бутылки). Или из-под красного полусладкого. Ну, или там из-под белого сухого.

Он любит выкатиться. И в самый неподходящий момент! И я его закатываю незаметно обратно (то есть бутылку). Ну а он все равно себя выпячивает. Ему хочется публики, внимания. Он как знаменитая «Девочка на шаре».

Таисия с невозмутимостью Бастера Китона, легендарного актера немого кино, подгрызает мне ножку сейчас на стуле. С математической точностью прикидывает, когда можно вывести меня (ну и заодно табурет) из равновесия.

А что такое настоящая попугайная вредность и настойчивость? Это есть киви, положенное мною на середину (!!!) стола – с краю. Чтобы все сочные ошметки... Ну, то есть вы меня понимаете! Потом вытереть клюв о край столешницы...

Таисия (и из каких там институтов благородных девиц выпускают вообще таких красавиц?!) после того как откровенно предательски разгрызла и прокусила мне своими пассатижами клюва слив на кухне, теперь взялась мне обтесывать деревянный косяк двери.

«Это мой косяк!» – она мне с вызовом говорит (ну, а может извиняясь).

А моя тоска по деревне приобретает все более причудливые формы. Я тут недавно купила тележные колеса. Декоративные, конечно, для сада. Да и где в Москве возьмешь настоящие? О чем вы!

А я ведь помню ещё настоящие деревенские колеса. И этот скрип колеса. И не из песни Валерия Меладзе.

У меня в деревне картошку сажали, копали всегда с лошадьёю. И, соответственно, была всегда обязательно телега. И по утрам меня будила телега. Когда надо было картошку сажать.

Когда надо было картошку копать, то телега будила меня в конце августа или в начале сентября.

Конюху не надо было даже стучать в окно и дверь, я все угадывала по перекатыванию этих тележных колес. Или по фырканию лошади (когда мухи попадали ей в нос или пыльца от тополей и одуванчиков).

Едешь на телеге и отодвигаешь рукою ветки яблонь. Сирень весной тычется в лицо. Ну, или там гроздь черемухи. А у лошади эта черемуха, лепестки, застревает прямо в гриве.

Деревенские тележные колеса знали ухабы и сопротивление перетянутых поперек дороги корней, направление колеи. Они знали геометрическое устройство земли и этой пашни (когда картошка на поле идет все рядами и грядами). Они впитали в себя млечный сок от одуванчиков.

И они, конечно же, знали все созвездия. Когда звезды они как свежевыкопанная картошка, урожай. И всего этого мне сейчас очень не хватает. Поэтому купила колеса.

Таисия, как плотник из «Формулы любви», уже к этим колесам подступила. Она ходит вокруг сейчас да около: «А за две недели починишь? – Можно, барин!»

Кати, Таечка, мое колесо, давай, кати! И верни меня поскорее в деревню, там, где свет.

Об авторах:

Юля Говорова — писатель, журналист. Финалист премии «Ясная Поляна» (2016). Много лет проработала в частном зоопарке-приюте в Псковской области. Сейчас живёт в Москве. Из домашних животных — сурикаты.